
ДЕНИС ПОЖИДАЕВ
СЛЕД В СЛЕД
18+

Денис Пожидаев

След в след

«Автор»
2026

Пожидаев Д.

След в след / Д. Пожидаев — «Автор», 2026

Январь 1945 года. Фронт в Восточной Пруссии уходит на запад быстрее, чем меняются карты. Четверых разведчиков посылают проверить немецкий узел связи в лесной усадьбе: третий месяц пост докладывает, что происшествий нет. Происшествий там действительно нет. Люди кончились раньше, чем пост перестал воевать. За две лунные ночи командир, старшина, санинструктор и молодой разведчик сделают всё, что положено хорошим солдатам: выполнят приказ, не бросят раненого, спасут друг друга. Слишком хорошо.

© Пожидаев Д., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Пролог. Hält 5
Часть первая. Люди 9
Глава первая. Дорога 9
Глава вторая. Без происшествий 17
Глава третья. Пустой пост 25
Интерлюдия первая 32
Часть вторая. Звери 34
Глава четвёртая. Наверху 34
Глава пятая. Шов 40
Конец ознакомительного фрагмента. 41

Денис Пожидаев
След в след

Пролог. Hält

Восточная Пруссия. Ночь с 10 на 11 декабря 1944 года

Нога лежала на столе отдельно от Брандта.

Так казалось при этой лампе. Она висела над самым столом на цепи, перекинутой через блок в потолочной балке, и светила только вниз — жёлтым конусом, ровно на цинк. Всё, что оставалось за краем конуса, тонуло в темноте. Брандт ушёл туда по пояс: шинель, которой его укрыли, грудь, белое лицо, рот, который то открывался, то закрывался. А на свету лежала голень — отмытая, голая, жёлтая, на сером цинке, как вещь, которую принесли чинить.

Маас смотрел на неё второй час.

На задней стороне голени, на ладонь выше пятки, не было кожи. Её сорвали: края лохматились, как у мешковины, которую рвут руками. В глубине темнело мясо, и в мясе белел обрывок сухожилия — короткий, крепкий, торчащий над пяткой, как обрубленный канат. Второй конец ушёл вверх, в икру. Маас достал его двузубым крючком, вытянул, сколько смог, и теперь держал пинцетом. Стопу Брандта он прижимал животом к краю стола, вытянутую носком вниз, как у танцовщицы. Так концы сближаются. Так учат.

Концы не сходились. Между ними оставалось четыре пальца пустоты.

Где эти четыре пальца, он знал. Они остались там, у западного флигеля, на снегу. Или — он подумал это спокойно, как о погоде, — не остались нигде. Дальше он думать не стал.

Всё остальное он передумал ещё внизу, в перевязочной.

Шить. Он попробовал — сразу, пока Брандт был без сознания: стянул концы шёлком, сколько они дали. Шёлк прорезал волокна, как нитка прорезает масло. Сухожилие, сшитое внатяг, не сшито. Это знает любая операционная сестра.

Везти. Нойман двадцать минут вызывал корпус. Корпус ответил: транспорт невозможен, дороги, ждать. Ждать Маас умел. Он знал и то, что бывает с такими ногами на третий день. Сначала запах — сладковатый, мышиный. Потом кожа над раной начинает хрустеть под пальцами, как снег. Двенадцать лет в Эппендорфе, в гамбургской больнице: сначала носилки, потом перевязочная, потом операционная, где он стоял у стены, подавал и смотрел. Портового грузчика с такой ногой однажды привезли на сутки позже, чем надо. Маас видел, что было с грузчиком потом.

Отрезать он не умел. И не стал бы — не здесь, не при керосине.

Оставить как есть — значит, если повезёт, костыли до конца жизни. Брандту было двадцать четыре года. До войны он сидел на коммутаторе бременского почтамта и, говорят, соединял девушек с кем попало, чтобы послушать, что из этого выйдет.

* * *

Стол внизу, в перевязочной, был обеденный, низкий, накрытый клеёнкой. Брандт на нём дёргался, кровь текла по клеёнке на паркет, и одна лампа давала больше тени, чем света. Тогда Маас вспомнил другой стол — тот, что увидел в ноябре, в первые дни, когда обходил двор. Сквозь пыльное окно восточного крыла: высокий, с цинковой окантовкой, с желобком вдоль края. «Для разделки дичи», — сказал тогда лейтенант Кранц и пошёл дальше.

Кранц не спал. Он сидел в радиорубке, застёгнутый на все пуговицы и выбритый, хотя шёл двенадцатый час ночи. Выслушал. Помолчал. Потом открыл ящик стола и достал связку ключей — тяжёлую, на кольце, с бумажными бирками, исписанными стариковским почерком покойного управляющего.

— Чужая собственность, Маас.

— Так точно, господин лейтенант.

— Составьте опись того, что возьмёте. — Кранц протянул связку и не сразу её отпустил. — Адлер прошёл флигель. Там пусто. Двери забиты. Хартман будет сидеть у вас за дверью.

Брандта несли Адлер и Хартман, на одеяле, через холодный крытый переход в восточное крыло. Адлер молчал. На рукаве у него засохла кровь — не Брандта. Маас видел, как час назад тащили по снегу того, другого, к леднику, под брезентом: он был лёгкий, как подросток, и из-под брезента торчала голая ступня. Ступня сидела на голени неправильно. Старый перелом, решил Маас, сросся криво. Он видел такое у стариков из богаделен.

Когда Брандта уложили, Адлер ушёл. Хартман сел за дверью на табурет, с винтовкой на коленях. Ему было девятнадцать лет, и по ночам он боялся. Маас слышал, как он устраивается, как скрипит табурет и как он дышит в кулак.

* * *

Комната была чистая — давно и навсегда, как бывают чисты операционные и мясные лавки. Пол — каменные плиты, к углу чуть покатые. Окна: одно на лес, другое во двор. Таз на железной треноге. Полки с пустыми стеклянными банками. И над столом — этот крюк, этот блок и эта цепь. Маас опустил лампу пониже, и свет лёг туда, где у него были руки, — точно туда, ни на палец в сторону. Он постоял, глядя вверх, на балку. Кто-то когда-то выбрал место для крюка так, чтобы один человек мог работать здесь без помощника.

Ему нужен был второй таз и спирт. Он пошёл искать их в соседнюю комнату и нашёл там шкаф.

Высокий, тёмный, в две створки. Внутри — банки с притёртыми крышками, обмотанными вощёной тканью, и соль. Крупная, серая, слежавшаяся, как старый снег. Из соли торчали концы чего-то бледного, плоского, похожего на ремни. К горлышку каждой банки была привязана восковая бирка с выдавленными цифрами. Год. 1919. 1924. 1927. На нижней полке лежала папка, перевязанная тесёмкой.

В папке были рисунки. Бурыми чернилами, тонким пером, рукой, какой Маас никогда не видел даже у профессора. Лапа легавой — без шкуры, все связки. Скакательный сустав лошади. Человеческая кисть. И голень.

Голень была в профиль, без кожи, как в атласе, и над пяткой у неё был разрыв. Его разрыв. Между концами лежала вставка — полоса, положенная внахлёст на оба конца, как кладут доску через ручей, и прошитая решёткой, лесенкой, так, чтобы тянул не один стежок, а все разом.

Вокруг рисунка шли надписи. Буквы Маас разбирал — этому почерку его учили в школе, острому, с петлями, — но слова были латинские и сокращённые, как в рецептах, и он узнал только одно: *Tendo Achill.* Остального не понял. Ему и не нужно было: рисунок он понимал целиком.

Однажды, в тридцать восьмом, он подавал профессору на такой же ноге. Профессор вырезал полосу фасции из бедра самого больного и вшил её мостом. Работали вдвоём, с ассистентом, под наркозом, четыре часа. Маас один не вырезал бы. Вторая рана, местный наркоз, керосин.

Но здесь полоса была уже вырезана.

Он открыл банку с биркой «1927», подцепил полосу пинцетом и вытянул из соли. Ждал, что она будет как старая сыромятина — твёрдая, ломкая. Полоса была влажная. Холодная. Он надавил на неё ногтем большого пальца, и вмятина медленно разошлась и выровнялась, как на коже. Семнадцать лет в соли.

Хорошо сохранили, подумал Маас.

В банке поменьше, в мутном рассоле, лежали катушки с нитью — бледной, тонкой, гладкой. На бирке было одно слово. Маас поднёс лампу к рисунку и нашёл то же слово там — у

стежков, у самой решётки, мелко. Он сравнил их по буквам, как сравнивает ребёнок, который ещё не умеет читать: петля к петле, хвост к хвосту. Одно и то же.

Значит, этой.

Он не был хирургом. Хирург мог бы позволить себе думать, что здесь лишнее, а что можно заменить. Маас мог позволить себе только одно — делать так, как нарисовано.

* * *

Новокаина он ввёл десять кубиков, обкалывая рану по кругу. Морфий Брандт получил ещё внизу, и теперь он плавал где-то в темноте за краем света, иногда выныривал и говорил.

— Фриц.

— Здесь.

— Там нет шнапса, Фриц. Там пусто.

— Знаю, Отто. Лежи.

— Там пусто. Там только он. — Брандт облизал губы. — Он меня взял за ногу. И держал. Не тянул даже. Просто держал. Я кричу, а он держит.

— Лежи.

Руки Маас вымыл спиртом до локтей, как учили. Отрезал полосу по рисунку, с запасом на внахлёст. Ножницы вошли в неё туго, с влажным хрустом, как в свежее. Он положил полосу между концами и посмотрел. Легла, как будто её здесь и не хватало.

Нить шла хорошо. Не лохматилась на ушке, не путалась, узлы садились мёртво. Игла входила в полосу с коротким упругим толчком — так входит в живое, Маас знал это движение по сотне чужих ран. Через нижний конец. Через полосу. Обратно. Выше. Ещё раз. Лесенкой. В одном месте игла сорвалась и вошла ему в мякоть указательного пальца, неглубоко. Он вынул её и повёл дальше.

Где-то далеко, в главном доме, за переходом, пробили часы. Двенадцать раз. Он сбился со счёта на седьмом и не стал считать снова.

— Фриц? — сказал из-за двери Хартман. — Всё в порядке?

— Да, Эмиль. Сиди.

Табурет скрипнул. Хартман сел.

Когда Маас затянул последний узел, лампа уже начала коптить. Он подкрутил фитиль. Полоса лежала ровно, без складок, и на свету была почти неотличима от того, что было над ней и под ней. Кожу он свёл редкими швами, не туго, оставив выход для сукровицы: рваную рану наглухо не шьют. Положил марлю. Поставил шину, проволочную лесенку, согнутую по ноге, — от колена до пятки, стопа носком вниз. Подвязал. Вымыл руки в холодной воде, и вода в тазу порозовела. На указательном пальце левой руки выступила капля. Брандтова, подумал он и вытер палец о фартук.

Потом вернулся в соседнюю комнату и долго стоял перед раскрытым шкафом.

В Эппендорфе всё записывали. Кто, что, когда. Здесь журнала не было. Он достал из нагрудного кармана огрызок карандаша, подумал — было уже за полночь — и написал прямо на рисунке, поверх старых бурых линий, стрелку к вставке и: *Br. 11.XII.44.* Потом приколол лист булавкой из папки к внутренней стороне створки — так, чтобы был перед глазами.

Зачем перед глазами, он не подумал.

* * *

Брандт пришёл в себя, когда Маас поправлял шину. Не совсем — глаза открылись, но смотрели в балку, на цепь. Маас держал его стопу ладонью, снизу, под подошву, как держат, пока не застынет гипс, хотя гипса не было.

И тут икра у Брандта свелась.

Маас почувствовал это раньше, чем увидел: судорога, обычная, от холода и от лежания, — мышца собралась в тугой ком. Он успел подумать, что сейчас всё порвётся. Что швы прорежут полосу, полоса выскользнет и два часа работы останутся на цинке.

Ничего не порвалось.

Под его пальцами, лежавшими на марле, прошло сокращение — сверху вниз, от икры, через то место, где час назад была пустота, — в пятку и в его ладонь. Ровное. Полное. Без рывка и без провала посередине. Стопа надавила на ладонь, и он ответил ладонью, и почувствовал, как в глубине натянулось и встало в упор то, что он вшил. Так тянет сухожилие, которое никогда не рвалось.

Брандт выдохнул. Мышца отпустила.

— Держит, — сказал он.

Маас не знал, про кого он. Про ногу. Или про того, у флигеля.

Он поднял голову.

Дворовое окно он ничем не завесил. Свет лампы шёл через стекло наружу и лежал на снегу жёлтым косым прямоугольником, перечёркнутым рамой. С краю, у самой кромки этого света, стоял старик.

Босой. В чём-то тёмном и длинном, вроде старой егерской куртки. Он стоял неподвижно, свесив руки, и смотрел в окно — на стол, на лампу, на руки Мааса, всё ещё лежавшие на ноге Брандта.

Мороз в ту ночь был за двадцать. Пар у старика изо рта почти не шёл.

Часть первая. Люди

Глава первая. Дорога

23 января 1945 года

Ткачук считал трубы.

Над городком их стояло двадцать две, и дымили семь. Три дымили правильно — ровным серым печным дымом: там топили, там уже стояли наши. Четыре — чёрным и рваным: это горело то, что гореть не должно. Крыша у кирхи. Сарай за площадью. Что-то в стороне станции, откуда тянуло палёной резиной. Остальные пятнадцать стояли холодные. В холодных домах никого не было. Или были — и не топили.

Это он отметил тоже.

Бенкхайм взяли утром, и город ещё не понял, чей он. По главной улице, от станции к площади и дальше, на запад, шло всё сразу: «студебеккеры» с пехотой в кузовах, пушки на конной тяге, полевая кухня, из трубы которой валил пар, санитарная летучка с красным крестом на брезенте, повозки, снова «студебеккеры». На перекрёстке у кирхи стояла регулировщица в полушубке и махала флажками так, будто разгоняла мух, — жёлтым, красным, жёлтым, — и колонна текла мимо неё, гремя и рыча, и не кончалась.

Вдоль обочин лежало то, что осталось от другой колонны. Той, что шла по этой улице раньше, в другую сторону. Перевёрнутая фура с высокими бортами, из которой вывалились перины и вспоротые матрасы, так что снег вокруг был в пуху, как в инее. Мёртвая лошадь в оглоблях — на боку, с ногами, вытянутыми, как палки. Чемодан, раскрытый и выпотрошенный. Детские санки, крашенные красным, с резной спинкой. Ткачук посмотрел на санки и отвернулся. Потом посмотрел ещё раз — потому что смотреть было его работой, — и снова отвернулся.

Вывески над дверями были немецкие, и он читал их, шевеля губами, по буквам, как читал всё немецкое: «Bäckerei». Пекарня. «Gasthaus». «Kolonialwaren». Последнее он не понял. Под вывеской пекарни кто-то из наших написал мелом на стене: «ДОШЛИ». Ниже, другим почерком, мельче: «Курск — Бенкхайм. Ивашин».

У стены кирхи сидел немец.

Сидел — так его посадили или так он и умер, привалившись спиной к красному кирпичу и вытянув ноги в снег. Ткачук посчитал у него подсумки: три. По тому, как они висели, понял, что пустые. Посмотрел на сапоги — подковки целые, сапоги новые, почти не ношенные, — и на руки: без перчаток, белые, с синими ногтями. И только потом посмотрел в лицо.

Лицо было моложе его собственного.

— Пашка, — сказал сзади Козырев. — Не отставай.

Ткачук не отставал. Он шёл третьим, как всегда в городе: впереди Багров, за ним Козырев, потом он, потом Вера. В белых маскхалатах поверх ватников они выглядели на этой улице дико — как четыре куска снега, которые зачем-то пошли против течения, — и шофёры из кабин смотрели на них, а один крикнул что-то весёлое и непонятное за рёвом мотора.

* * *

У поворота на боковую улицу Багров остановился, и все остановились за ним.

У крыльца двухэтажного дома с зелёными ставнями стоял боец. Не из их части — Ткачук не знал его. Шапка на затылке, шинель нараспашку, под мышкой — часы. Не наручные: настенные, в деревянном корпусе, с маятником, который болтался за стеклом при каждом его движении и коротко звякал. Боец бил в дверь кулаком. Дверь была приоткрыта на цепочку, и в щели было лицо женщины — немолодой, в платке.

— Открой, — говорил боец громко и почти ласково. — Фрау. Открой, слышь? Я ж по-хорошему. Комм. Комм, фрау.

Он был пьяный. Не сильно, но достаточно. Цепочка звякала в такт маятнику.

Козырев прошёл мимо Багрова, не спрашивая. Подошёл со спины, взял бойца за воротник одной рукой, как берут мешок за горловину, и развернул. Боец оказался с ним лицом к лицу, удивился, хотел что-то сказать. Козырев оттолкнул его. Без злости, коротко, всем телом, как отталкивают вагонетку, и тот сел в снег, и часы выпали у него из-под мышки и легли рядом, циферблатом вверх. Маятник звякнул и замер.

Боец посмотрел на часы. Потом на Козырева. Рука у него пошла к ремню, к кобуре или к ножу — Ткачук не разглядел к чему.

— Фамилия, — сказал Багров.

Он не повысил голос и не сдвинулся с места. Сказал так, как говорят на поверке, — без вопроса, — и рука бойца остановилась. Погон под маскхалатом видно не было, но голос боец узнал: таким голосом говорят только те, у кого они есть. Сразу протрезвел — не весь, но лицом.

— Часть, — сказал Багров.

Боец сказал часть. Сказал фамилию. Поднялся, отряхнул шинель. Часы оставил в снегу. Ушёл к колонне быстрым шагом, не оглядываясь.

Цепочка звякнула. Женщина за дверью смотрела не на них — мимо, на улицу, туда, где шла колонна и откуда придут другие. Она не сказала «данке». Закрыла дверь, и за дверью дважды щёлкнул замок.

Ткачук поднял глаза.

Наверху, во втором этаже, в окне с отогнутым краем занавески, был ребёнок. Девочка, лет шести, белобрысая, с косичкой. Она смотрела вниз, на часы в снегу. Потом увидела, что он её видит, — и занавеска опустилась.

Он никому не сказал. Никто, кроме него, её не заметил — это он знал так же точно, как число дымящих труб над городом. Он подумал о том, что она будет делать вечером, когда стемнеет, и придут другие, и что будет делать её мать. Потом подумал об Оксане. Это получилось само: он не хотел. Сорок второй год, май, грузовики у сельсовета, и сестра в кузове, в новом платке, который мать отдала ей утром, и машет — не ему, всем, просто машет рукой, как с поезда на вокзале. С тех пор ни одного письма. В Германию. Куда-то сюда.

Он перестал думать об этом. Это он умел.

— Ты её спросил? — сказала Вера.

Она стояла рядом с Козыревым и смотрела на закрытую дверь.

— О чём? — сказал Козырев.

— Ни о чём, — сказала Вера.

Козырев пожал плечами. Багров посмотрел на Веру, потом на Козырева, потом на часы в снегу — и пошёл дальше. Все пошли за ним.

Ткачук не понял, о чём они. Он оглянулся один раз. Часы лежали у крыльца, циферблатом в небо. Стрелки стояли.

* * *

Разведотдел занял дом аптекаря у площади. На вывеске над дверью была нарисована змея, обвившая чашу, и кто-то уже успел прибить под ней дощечку с номером полевой почты.

Внутри было жарко — натоплено, накурено, людно. В передней спали на полу связисты, прямо в шинелях, вповалку, один храпел. В комнате дальше стоял стол, накрытый скатертью с вышитыми краями, и на скатерти лежала карта — наша, километровка, с синими и красными стрелками, придавленная по углам немецкими чашками. Чашки были тонкие, белые, с синими мельницами. Из одной кто-то пил чай, она была тёплая. Рядом лежала раскрытая папка с немецкими бумагами, края у бумаг обгорели.

За столом сидел майор — начальник разведки дивизии. Ткачук видел его раньше два раза, оба раза издали. Возле окна стоял капитан Северин, их ротный, — длинный, сутулый, с обмороженным, шелушащимся носом, — и курил в форточку. Третьим был переводчик, худой лейтенант в очках, который держал в руках обгоревший лист так, будто тот мог рассыпаться.

— Багров, — сказал майор. — Садись. Остальные — вольно.

Остальные встали у стены. Ткачук встал так, чтобы видеть карту.

Майор постучал карандашом по папке.

— Взяли утром. В штабе батальона, на чердаке. Жгли, не дожгли. Лейтенант, что там.

Переводчик поправил очки.

— Служебная переписка корпусного узла связи, — сказал он. — Обрывки. Здесь, — он показал лист, — приказ о размещении. С середины ноября в лесном имении, вот здесь, развёрнута радиостанция и телефонный узел. Funkstelle. Позывной есть. Есть ведомость на продовольствие — на четырнадцать человек. Последняя бумага от двадцатого числа.

— Название имения?

— Gut Sch… — переводчик повернул лист к свету. — Дальше обгорело.

Майор повёл карандашом по карте. Ткачук следил за кончиком. От Бенкхайма на юго-запад, по дороге, потом с дороги — в зелёное, в лес, в мелкие голубые кляксы озёр, — и там остановился. Кружок, обведённый немецким красным. Двенадцать километров, прикинул Ткачук. Может, тринадцать. Подъезд — одна просека. Рельеф — горизонтали частые, лес на буграх, низины, болото.

— Наши туда не заходили, — сказал майор. — Полк прошёл стороной, по дороге. Что там сейчас — не знаю. Ушли — не ушли. Бросили — не бросили. Задача: проверить объект. Есть противник — установить сколько. Журналы, коды, карты — забрать. Будет кого взять — бери, лучше связиста или офицера. Не будет — не выдумывай. Вернуться.

— Когда, — сказал Багров.

— Северин.

Капитан выбросил окурок в форточку.

— К восьми утра, — сказал он. — Развилка у горелого хутора, два километра западнее города. Там будет наш. Не будет вас к восьми — буду считать, что задержались. Не будет к вечеру — буду считать по-другому.

— Рацию, — сказал Багров.

— Нету, — сказал Северин. — Две на роту, и обе на направлении. Ты же к ужину обернёшься, Алексей Петрович. Там пустой дом в лесу.

— Наверное, — сказал Багров.

Он смотрел на карту. Ткачук знал, как он смотрит на карту: не на кружок, а вокруг — на то, что подходит к кружку, и на то, что от него уходит. Багров спросил ещё про дорогу, про мосток через ручей, про то, кто стоит слева. Майор отвечал. Потом Багров спросил:

— Четырнадцать — это сколько из них могло остаться?

— А это ты мне и скажешь, — сказал майор.

Вера у стены переступила с ноги на ногу. Козырев смотрел в окно, на улицу, по которой шла колонна. Ткачук смотрел на обгорелый край листа, где кончалось слово. Gut Sch. Буквы обрывались чёрной бахромой, как будто их кто-то откусил.

* * *

Из города они вышли на юго-запад, по дороге, и первые полчаса дорога была своя.

По ней шли машины, по ней везли раненых в обратную сторону, обочины были истоптаны и изъезжены, снег — серый, в мазуте и навозе. Пахло бензином, конским потом, дымом. Где-то впереди, за лесом, неровно и глухо била артиллерия, и каждый раз ухало так, что в груди отдавалось. Потом их обогнала батарея на конной тяге, и ездовой со второго орудия крикнул:

— Разведка! Немцу привет передай!

— Передам, — сказал Козырев.

У километрового столба с немецкой табличкой Багров свернул влево, на просеку, и через двести шагов дорога осталась за деревьями.

Сначала её ещё было слышно — моторы, лязг, кто-то кричит. Потом стало тише. Потом осталось одно: далёкий гул, будто за лесом работал огромный завод. Потом и гул ушёл, остался только редкий удар орудия где-то справа — и снег.

Ткачук оглянулся.

На просеке, в свежем снегу, нападавшем за ночь, лежали следы. Четыре цепочки. Глубокие, с белыми краями. Впереди — узкий, экономный шаг Багрова. За ним тяжёлый, вдавленный, с чуть развёрнутым носком — Козырева: он был в сапогах, валенок не любил. Потом его собственные. Последние — Верины, мельче, ровнее остальных.

Больше на снегу ничего не было. Ни колеи, ни копыт, ни чужого валенка. Только четыре цепочки, которые начинались у дороги и уходили в лес.

Он почему-то запомнил это. Как запоминают номер дома, где ни разу не был.

* * *

Лес был старый, смешанный: сосна на буграх, ель в низинах, кое-где дубы, корявые и голые, с бурыми листьями, которые так и не облетели. Снег лежал глубоко, по колено, местами выше — слежавшийся, с коркой, а поверх корки тонкий свежий пух. По такому снегу всё было видно. Это Ткачук любил. Снег был честный: на нём не соврёшь.

Он смотрел — так, как его учили, и ещё немного так, как его никто не учил.

Старая колея — машина, тяжёлая, неделю назад, не меньше: края колеи осыпались и смёрзлись. Сломанная ветка на высоте плеча — не зверь, человек, и давно: излом потемнел. Заячий след, свежий, — значит, людей тут с утра не было. Вороны молчат. Дятел стучит где-то справа, далеко, — значит, справа тоже никого. Дым? Он поднял голову и поискал над лесом. Нет. Только в небе, низко на востоке, над самыми верхушками, висела луна — дневная, почти полная, прозрачная, как пятно от пальца на стекле.

На рябине у просеки сидел снегирь.

Красный, круглый, на белой ветке, неподвижный, как вырезанный. Ткачук остановился. Смотрел. Снегирь был красивый, и красный на белом был такой чистый, такой неправильно яркий среди всего этого серого и бурого, что хотелось запомнить, а потом нарисовать.

Козырев сзади ткнул его стволом в спину — легко, не больно.

— Птичка, — сказал он. — Ага. Иди.

Ткачук пошёл.

* * *

Через полтора километра он остановился по-настоящему.

Поднял руку. Все встали — разом, без звука, как вкопанные. Это они умели.

Справа, наискось через просеку, шла лыжня. Две лыжни, рядом. Нет — три: одна поверх другой, след в след почти, но не совсем, и палки втыкались по-разному.

Багров подошёл. Присел рядом.

— Ну.

— Похоже, дозор, — сказал Ткачук. — Лыжники.

— Сколько?

— Двое. Трое… Похоже, трое.

— Свежий?

Ткачук потрогал край лыжни пальцем. Пух поверх корки — нападал за ночь. На лыжне его не было. Значит, прошли после снега. Утром.

— С утра, — сказал он. И добавил: — Не уверен.

Багров этого не любил: он любил «да» и «нет». Ткачук это знал и всё равно говорил «не уверен» — потому что так было честно, а Багров однажды сказал, что разведчик, который врёт уверенностью, хуже разведчика, который врёт со страху. Ткачук запомнил это дословно.

Багров посмотрел туда, куда уходила лыжня. В ельник, в низину.

— Глянем, — сказал он. — Гриша, за…

Козырев уже был там — у толстой ели слева, с автоматом наизготовку, с той стороны, откуда видно низину. Багров не договорил. Махнул рукой Ткачуку — вперёд, по лыжне, медленно. Вера осталась сзади, у рябины, лицом назад, туда, откуда они пришли.

Лыжня привела к ячейке.

Неглубокая, выкопанная в снегу у корней вывороченной сосны, обложенная лапником, с бруствером из снежных кирпичей. Пустая. На дне — три гильзы, жёлтые, винтовочные. Пустая консервная банка. Обрывок газеты, немецкой. И следы: здесь сидели, долго, потом встали и ушли — на запад, туда же, куда ушло всё.

— Наблюдатель, — сказал Козырев. — Сидел, смотрел на дорогу. Утром снялся.

— Утром, — сказал Багров. И посмотрел на Ткачука.

Ткачук не понял, что значит этот взгляд. Потом понял. Он сказал «с утра» — и было с утра. Он сказал «трое» — Козырев уже ходил вокруг ячейки и показывал на снег: трое. Багров только посмотрел — и пошёл обратно к просеке.

Ткачуку стало тепло. Не от ходьбы.

* * *

Ошибся он через полчаса.

Слева, между стволами, на склоне, что-то блеснуло. Коротко, остро — как блестит стекло бинокля, когда на него падает солнце. Он вскинул руку, все встали, и он присел, и показал, и Козырев уже лежал за кочкой, и Багров смотрел туда, где блеснуло, не мигая.

Ничего.

Подождали. Ничего.

Козырев пополз. Вернулся через пять минут, весь в снегу, и бросил к ногам Ткачука банку. Консервную, пустую, с отогнутой крышкой. Крышка блестела.

— Бинокль, — сказал Козырев. — Цейсовский.

Вера фыркнула. Ткачук почувствовал, как у него горят уши.

— Вот что, Павел, — сказал Козырев, отряхиваясь. — Ты, когда жениться будешь, ты ей так и скажи. Похоже, говорит, я вас люблю. Не уверен, говорит, но похоже.

Вера засмеялась — коротко, в рукавицу. Это было неожиданно: Ткачук редко слышал, как она смеётся. Даже Багров, который стоял к ним спиной, дёрнул плечом.

— Лучше потерять минуту, чем человека, — сказал Багров, не оборачиваясь. — Пошли.

Сказал он это не Козыреву, а в воздух — будто читал вслух правило из книжки. Но Ткачук понял, что сказано ему. Уши горели. Банку он подобрал и сунул в сугроб — сам не знал зачем.

* * *

Ещё через час он начал хромать.

Он не сразу заметил. Портянка сбилась ещё на дороге, он не стал перематывать — неудобно было останавливать всех из-за портянки, — и теперь в левом валенке горело, как будто в пятку сунули уголь. Он старался не припадать. Не получилось.

— Стой, — сказала Вера сзади.

Он не остановился.

— Ткачук. Стой.

Он остановился. Все остановились. Вера подошла, посмотрела на его ногу, потом ему в лицо.

— Разувайся.

— Да ну, Вера Андреевна. Дойду.

— Разувайся.

Багров повернулся. Посмотрел на часы.

— Руднева, — сказал он. — Время.

— Пять минут, — сказала Вера.

Она не спорила. Сказала, как говорят цену в магазине, и смотрела на Багрова. Ткачук видел, что Багров хочет сказать «потом», что у него это слово уже во рту, — и что он его не скажет.

— Пять, — сказал Багров. — Козырев — вперёд, на бугор. Посмотри.

Ткачук сел на поваленный ствол и стянул валенок. Портянка сбилась в жгут, пятка была стёрта до мяса, красное пятно с мокрым краем. Вера присела рядом, посмотрела. Достала из сумки бинт, какую-то мазь в жестянке, ловко обработала, наложила повязку, перемотала ему портянку — сама, туго и ровно, как никогда не получалось у него.

Руки у неё были холодные и быстрые — как у человека, который делает это в тысячный раз и думает уже о следующем. Но от этих рук становилось спокойно.

— Ещё раз так пойдёшь, — сказала она, — к вечеру будешь на одной ноге прыгать. Сбилась — говоришь. Понял?

— Понял.

— Не слышу.

— Понял, Вера Андреевна.

Козырев вернулся с бугра, сел рядом на ствол, достал из кармана нож. На ремне у Ткачука, на подсумке, болталась застёжка — шпенёк вылез из гнезда ещё неделю назад, и Ткачук держал подсумок закрытым на честном слове.

— Дай, — сказал Козырев.

— Да не надо.

— Пашка. Дай.

Ткачук отдал. Козырев зажал пряжку в кулаке, повертел, ковырнул кончиком ножа, что-то подогнул, нажал. Шпенёк сел на место со щелчком.

— Вот, — сказал Козырев. — А после войны неделю ничего чинить не буду. Неделю. Лягу и буду лежать. Пусть всё ломается.

— Уже врёте, — сказал Ткачук.

— Это служебное, — сказал Козырев.

Он вернул подсумок. Потом сунул руку в карман галифе, достал что-то маленькое, жёлтое, блестящее и стал катать в пальцах — машинально, не глядя, как катают чётки. Ткачук знал эту штуку: латунная втулка с внутренней резьбой, тяжёлая, ладная, от какого-то паровозного механизма. Козырев таскал её с собой всю войну. Ткачук однажды спросил — зачем. Козырев сказал: «Резьба хорошая». И всё.

Багров стоял в стороне и смотрел на часы. Потом достал из планшета какой-то клочок — обёртку от сахара или от галет, — разгладил на колене и начал складывать. Пополам. Ещё пополам. Уголки внутрь. Аккуратно, точно, не глядя на руки.

Ткачук смотрел, как из обёртки получается лодочка. Маленькая, с острым носом и треугольным парусом.

— Зачем? — спросил он.

Багров посмотрел на лодочку, будто увидел её впервые.

— Руки помнят, — сказал он.

Посадил лодочку на снег. Подумал. Потом взял обратно, развернул, разгладил и сунул бумажку в планшет.

— Пять минут, — сказал он. — Встали.

* * *

Следы они нашли у лесной дороги.

Дорога была настоящая, не просека: две колеи, кюветы по бокам, телеграфные столбы, провод на которых был перерезан и висел до земли. По карте это и был подъезд. Километра три до кружка.

И по дороге шли следы. Со стороны усадьбы, по левой колее, — а здесь, у столба, они сворачивали через кювет в лес, на запад.

Ткачук остановился. Присел. Потом встал, прошёл вдоль, туда-сюда, глядя под ноги. Подковки. Немецкие сапоги, с шипами на подошве и подковкой на каблуке — такие ни с чем не спутаешь. Шли быстро, широким шагом — не бежали, но торопились.

Он считал.

— Четверо, — сказал он.

Козырев подошёл, посмотрел, наклонился.

— Трое.

Ткачук посмотрел снова. Три цепочки. Три — если смотреть, как смотрит Козырев: по рядам, по ногам. Козырев был прав, и Ткачук почти согласился, почти сказал «похоже, трое» — и не сказал.

Правая цепочка ему не нравилась.

Он не знал чем. Он смотрел на неё и чувствовал, что она тяжелее двух других. Глубже. Будто тот, кто шёл справа, весил вдвое больше. Он опустился на колено и посмотрел на отпечаток сбоку, против света. Край у него был двойной: не один ровный обрез, а два, один в другом, со сдвигом на палец, как будто человек поставил ногу, а потом её ещё раз поставили сверху.

— Погоди, — сказал он.

Он пошёл вдоль правой цепочки, вниз, к кювету. Здесь был бугорок, сугроб над канавой, и цепочка переходила через него. И тут, у самого края канавы, она раздваивалась. Один отпечаток — как все. А рядом, чуть в стороне, — второй, смазанный, глубокий, носком вбок: кто-то оступился. Нога соскользнула с чужого следа и ушла в рыхлое. А дальше, через шаг, — снова одна цепочка. Снова двойной край.

— Четверо, — сказал Ткачук. — Последний шёл след в след. Вот тут сорвался.

Козырев подошёл. Посмотрел на канаву. На смазанный отпечаток. Потом ещё раз на цепочку — уже иначе, медленно.

— Четверо, — сказал он. — Ну.

Проходя мимо, он хлопнул Ткачука по плечу — один раз, тяжело.

Багров стоял на дороге и смотрел туда, откуда пришли немцы. На восток, вдоль дороги, в сторону усадьбы.

— Когда?

— Вчера. Может, позавчера к вечеру. Их ночью припорошило, видите — пух в отпечатках. — Ткачук помолчал. — Торопились. Шли не в ногу, но строем. Один впереди, трое за ним. С грузом — у второго шаг короче.

— Обратно?

Ткачук посмотрел вдоль дороги в одну сторону. В другую. Прошёл по кювету десять шагов, двадцать.

— Обратно — ни одного, — сказал он.

Багров кивнул. Помолчал. Потом сказал:

— Значит, ушли. Часть ушла.

Это прозвучало как вывод. Ткачук подумал, что это хороший вывод — разумный, военный. Четверо ушли из имения на запад, к своим, вчера или позавчера, торопились. Значит, имение бросают. Значит, там пусто. Или почти пусто.

Ему не понравилось «торопились». Он не сказал этого. Не был уверен.

— Пойдём по ним, — сказал Багров. — Назад. Откуда пришли.

* * *

Они пошли по чужим следам в обратную сторону. Следы вели по дороге, потом по обочине, потом снова по дороге. Лес становился гуще и выше, бугры круче. Слева в просвете открылось озеро — белое, плоское, с чёрной каймой камыша. Справа — низина, ельник, и в ельнике незамёрзшая вода, чёрная, парящая, с жёлтой наледью по краю.

Дорога пошла вверх. Ткачук шёл первым. Он чувствовал, как стёртая пятка ноет под Вериной повязкой, — ровно, терпимо.

Потом лес кончился.

Не сразу — поредел, и между соснами проступило серое, потом светлое, и Ткачук поднял руку, и все легли в снег за последними деревьями, у края опушки. Он лёг рядом с Багровым. Поднял голову.

Внизу, в широкой ложбине, лежало поле, укрытое ровным нетронутым снегом. Через поле шла аллея — двумя рядами старых лип, чёрных, корявых. А в конце аллеи, у дальнего леса, на невысоком бугре, стоял дом.

Он был больше, чем Ткачук ожидал. Намного больше. Он думал — барский дом, как у них под Винницей: белый, с колоннами, разорённый ещё в гражданскую. А тут стоял длинный тёмный корпус в два этажа — низ каменный, серый, верх деревянный, тёмный, почти чёрный, с крутой высокой крышей, с которой свисали сосульки. Два крыла по бокам, пониже, тоже длинные, — они тянулись от главного корпуса вперёд, к опушке, к ним. Между крыльями — двор, и стена со стороны аллеи, и ворота в стене. Трубы. Он насчитал девять.

И на коньке главной крыши — мачта. Тонкая, высокая, с растяжками. Антенна.

— Узел, — сказал Багров вполголоса.

Он достал бинокль. Ткачук смотрел без бинокля.

Окна. Низкое солнце било в них сбоку, слева, и стёкла отсвечивали — все одинаково, тускло-жёлтым, — и за этим отсветом ничего нельзя было разглядеть. Ворота закрыты — нет, одна створка приоткрыта. Во дворе — тёмное пятно, длинное, угловатое: машина. Следы от ворот — те самые, одна цепочка в другой, — уходят через поле наискось, к лесу, к дороге, по которой пришли они сами. Других следов нет. Ни к воротам, ни от ворот, ни вдоль стены. Часового нет. Собак не слышно. Ворон над двором нет.

И над девятью трубами — ничего.

Дыма не было. Это Ткачук заметил первым — не дом, а то, чего над домом не было. В такой мороз в таком доме топят день и ночь. Четырнадцать человек на продовольственной ведомости. Радиостанция. Мачта стоит, растяжки целые.

А дыма нет.

Он лежал в снегу и смотрел. Справа, над дальним лесом, висела дневная луна — бледная, почти полная, — а по коньку главной крыши ветер, которого внизу, в ложбине, видимо, не было, тянул тонкую позёмку, и она стекала с крыши, как дым, но это был не дым.

— Пусто, — сказал Козырев.

— Похоже, — сказал Ткачук.

Он почувствовал, как Багров повернул к нему голову и ждал, не скажет ли он что-нибудь ещё.

Ткачук ничего не сказал. Он не был уверен.

Глава вторая. Без происшествий

23 января 1945 года

Солнце стояло на ладонь над лесом.

В пехоте говорили: ладонь — это час. Пехота считала неправильно. Правило придумали где-то южнее, где солнце к вечеру падает к земле почти отвесно. Здесь, в январе, оно сползало вбок, по пологой дуге, и ладонь выходила часом с лишним, почти полутора. Он проверил это ещё в декабре, под Гольдапом, с часами в руке, от нечего делать. Ошибка правила была ему приятна, как опечатка в чужом учебнике, найденная до урока.

Полтора часа света. Потом сорок минут сумерек. Потом — луна.

Он поднял бинокль.

Дом лежал перед ним, как задача на построение. Главный корпус — на севере, поперёк. Два крыла — от его концов к югу, к ним, параллельно друг другу. Между крыльями двор, а с юга двор замыкала стена с воротами. Буква «П», закрытая снизу чертой. Колодец.

Он посчитал окна, выходящие во двор. В главном корпусе — девять внизу, девять наверху, четыре слуховых в крыше. Вдоль крыльев, по второму этажу, шли галереи — деревянные, крытые, на столбах, открытые во двор, как ложи в театре. Всё в этом доме смотрело внутрь. Человек, вошедший в ворота, оказывался на дне колодца, на виду у двадцати двух окон и двух галерей, и до главного крыльца ему оставалось метров сорок. Шагов пятьдесят — по снегу, под всеми окнами разом.

Тир, подумал Багров. Старый, хороший, правильно построенный тир.

Он перевёл бинокль вправо, на луну. Она висела над восточным лесом — бледная, больше чем на три четверти полная — и шла вверх. Взошла около полудня. Значит, к ночи встанет на юге, высоко, над этим полем, над воротами, и будет светить во двор прямо, сверху, как прожектор с вышки. Двор будет белый. Окна — чёрные. Кто в окне — видит. Кто во дворе — виден.

Он запомнил это так, как запоминают условие, которое понадобится в конце задачи.

Ворота: правая створка приоткрыта. От неё через поле, наискось, к лесу, к дороге — тот самый след, четверо в три цепочки. Других следов нет. Мачта на коньке цела, растяжки натянуты, провода антенны висят без провисов — кто-то их подтягивал, и недавно. Над девятью трубами — ничего. Узел связи никуда не делся, а дыма над ним нет.

— Пусто, — сказал Козырев слева.

— Похоже, — сказал Ткачук справа.

Багров ждал. Ткачук больше ничего не сказал.

«Похоже» у Ткачука могло значить что угодно, от «да» до «нет», и смысл был в том, что он делал после. Если после «похоже» он вставал — значит, да. Ткачук лежал и смотрел. Восемь лет Багров простоял у доски и научился видеть, кто понял, а кто только кивнул. Ткачук никогда не кивал. Это было в нём лучше всего и иногда сильнее всего раздражало.

— По аллее не идём, — сказал Багров.

Никто не спросил почему. Аллея шла от ворот к опушке, прямая, как по линейке, — две линии чёрных лип, и всякий, кто пойдёт между ними, пойдёт точно по оси, под всеми окнами главного корпуса сразу. Аллея была не дорогой, а прицелом. Её для этого, конечно, не сажали. Но получилось так.

— Ткачук — первым. Опушкой влево, потом по ложбине, к западному углу стены. Козырев — замыкающим. Пошли.

* * *

Шли двадцать пять минут.

Снег у опушки был глубже, чем в лесу, — надуло, — и Ткачук выбирал дорогу, ступая туда, где под пухом угадывалась корка. Багров шёл за ним в его след и чувствовал, как под ватником, на спине, рубаха прилипает к телу. Пот на морозе — это плохо. Это он тоже запомнил.

Ложбина вывела их к стене с запада, туда, где главный корпус прятался за крылом и видна была только его крыша, — а значит, и из его окон не было видно их. Западное крыло вставало над ними глухо — каменный низ, деревянный верх, маленькие окна. На окнах первого этажа были решётки. Кованые, толстые, вделанные в камень.

Багров отметил решётки и не стал о них думать. Склад. Может быть, карцер. Хозяйственное крыло. У хозяев бывает что запереть.

Снег под валенками скрипел так, что, казалось, слышно за километр. На самом деле — шагов на сорок: свежий снег поверху глушил скрип. Всё равно казалось. Ни одного звука из дома. Ни мотора, ни голоса, ни лязга. На узле связи, даже ночью, где-нибудь да гудит движок. Здесь не гудело.

Вдоль стены они дошли до ворот.

Ворота были тяжёлые, дубовые, обитые железными полосами, с калиткой в левой створке и каменной будкой сбоку — сторожкой. Правая створка стояла приоткрытой на полметра. С внутренней стороны к ней намело сугроб, и в сугробе, под ночным пухом, угадывались вмятины: здесь выходили. Входа не было.

Козырев заглянул в сторожку и вышел.

— Пусто. Печка холодная. — Он помолчал. — Тулуп висит.

Багров заглянул сам. Тесная каморка, табурет, оконце во двор, пепельница из консервной банки. На гвозде у двери висел тулуп — длинный, овчинный, караульный. Такой надевают поверх шинели, когда стоят на часах всю ночь.

Часовой в такой мороз без тулупа не уходит. Если только не уходит туда, где тулуп не нужен.

Багров вышел из сторожки и посмотрел во двор.

* * *

Двор был больше, чем казалось с опушки. Ровный снег, почти нетронутый, с косыми синими тенями от западного крыла. В середине — каменная чаша старого водосбора, засыпанная доверху. И чуть левее середины, наискосок, будто его бросили на ходу, — грузовик.

«Опель-блиц». Трёхтонка с длинным капотом и брезентовым тентом над кузовом. Багров знал эти машины: сотни таких валялись вдоль дорог от Витебска до Немана. Колёса по ступицу в снегу, в колеях — пух. Стоит сутки, может двое. Въехала, развернулась к главному крыльцу — и встала.

Левая половина лобового стекла была выбита. Осколки лежали на капоте и на снегу перед радиатором — снаружи, веером.

— Изнутри выбили, — сказал Козырев.

— Вижу.

Козырев обошёл машину. Он подходил к машинам так, как другие подходят к лошади: сбоку, спокойно, не торопясь. Открыл дверцу кабины, заглянул, постоял. Потом постучал костяшками по баку под кабиной — раз, другой, прислушался.

— Почти полный. Ключ в замке. — Он кивнул на сиденье. — А вот это не я.

Сиденье водителя было в бурых потёках — замёрзших, тёмных, почти чёрных. Вера подошла, посмотрела через его плечо. Посмотрела недолго, профессионально — прикинула, сколько.

— Много, — сказала она. — Одним разом. Сидел здесь, здесь и истёк.

— А сам где?

Она пожала плечами. Тела в кабине не было. Под кабиной, на снегу, — тоже. Ночной пух лёг на всё ровно, и если кого-то отсюда тащили, следы ушли под снег.

Багров стоял и складывал. За постом пришла машина — с полным баком, значит, чтобы увезти. Машину не взяли. Шофёр истёк кровью за рулём. Стекло выбили изнутри — тот, кто был в кабине, рвался наружу. Или его оттуда рвали. И тот, кто остался жив, ушёл пешком, с ещё тремя, на запад, и торопился.

Отход, который сорвался. Ссора. Может быть, стрельба между своими. Такое бывало. Он видел в сорок третьем, на Днепре, немецкую батарею, где офицера застрелили свои же, когда он не дал уходить.

Это объясняло многое. Не объясняло, почему пост не сожгли и не бросили, а оставили стоять с целыми антеннами.

Вера отошла от машины и пошла было вдоль кузова, по открытому, туда, откуда видно другую сторону.

— Держись внутренней стороны, — сказал Багров.

— Сама вижу.

Она уже поворачивала обратно, к стене крыла, под навес галереи. Она увидела это раньше, чем он сказал. Он понял это по тому, как она шла, — и замолчал.

Ткачуку он бы этого не сказал. Ткачук и так держался стены. Козыреву — тем более. Он сказал это потому, что это была она, — и она это поняла, оттого и ответила так. Ошибка была маленькая, как описка в длинной выкладке, и как описку он её и отметил: вот здесь неверно, дальше не повторять.

* * *

Под галереей западного крыла было сумрачно и тихо. Над головой — тёмные балки, доски настила, с края свешивались сосульки. Двери вдоль стены — низкие, дощатые, хозяйственные. Одна, самая южная, у ворот, была заколочена крест-накрест досками — свежими, ещё светлыми.

Солнце ушло за крышу западного крыла, и двор быстро синел. Багров посмотрел на часы: до заката оставалось полчаса.

Дом был большой. Четверо — это мало для такого дома, а светлого времени — ещё меньше.

— Разделимся, — сказал он. — Козырев, Ткачук — крыло, от перехода до ворот. Мы с Рудневой — главный корпус, западная часть. Через двадцать минут — здесь.

— Не надо, — сказал Козырев.

Он сказал это негромко и не глядя на Багрова: смотрел на заколоченную дверь. Ткачук поднял голову. Вера смотрела в снег.

— Что «не надо»?

— Не надо, командир. — Козырев повернулся. Лицо у него было спокойное, усталое, обычное лицо. — Уже ходили двоими.

Стало слышно, как под валенком у Ткачука скрипнул снег, когда тот переступил.

Багров понял, о чём он. Он знал это лучше Козырева. В записной книжке, которая лежала у него в левом нагрудном кармане, были фамилии, даты, иногда места — люди, погибшие под его командой. Одна запись была без слова «погиб». Только фамилия и дата, когда они ушли. Человек был жив, когда они уходили. Багров записал его, не зная, имеет ли на это право. Козырев про книжку не знал. Козырев знал про другое.

Ткачук смотрел то на одного, то на другого и явно ничего не понимал. Ему и не нужно было.

Багров пересчитал заново. Он хотел разделиться ради времени: две пары осмотрят вдвое больше. Но в незнакомом доме, где противник, если он есть, знает каждую дверь, а ты — ни одной, две пары — это две половины, и ни одна не придёт на помощь другой. Время он выигрывал. Терял всё остальное.

Козырев был прав. Неприятно было то, что прав он был по причине, которая к делу не относилась, — и всё равно прав.

— Вместе, — сказал Багров. — Ткачук — первым. Я, Козырев. Руднева замыкает. Дальше так.

Козырев кивнул и отвернулся.

* * *

Ткачук остановился через десять шагов.

Он не поднял руку — просто встал, и Багров едва не налетел на него. Ткачук смотрел под ноги, на край снега у самой стены, там, где навес галереи кончался и снег лежал ровный, свежий, нетронутый.

Тронутый.

Здесь шли следы. Немецкий сапог: подковка на каблуке, шипы на подошве. Одна цепочка. Откуда-то из глубины двора — к галерее. Ткачук присел.

— Сегодня, — сказал он. — После снега. Утром, похоже.

— Один?

— Один.

Багров присел рядом. След как след. Сапог как сапог. Ткачук молча показал пальцем: вот этот — правый — целый, весь, от носка до каблука. Следующий, левый, — каблук отпечатался слабо, почти никак, а носок вдавлен глубоко, до корки. Ещё шаг. Правый — целый след. Левый — один носок. Пятки нет вовсе.

Последний след стоял у самого столба галереи, носком к нему. На столбе, на высоте колена, было пятно — мёрзлая грязь со снегом, отпечаток подошвы. А выше, над головой, на нижней балке настила, на тёмной краске светлела свежая царапина. Ободранное дерево было жёлтое, чистое, как на свежем сломе.

Человек дошёл до столба на одном носке, наступил на столб и ушёл наверх. Не по лестнице. По столбу.

— Раненый, — сказал Козырев над ними. — Пятку бережёт.

— Не так раненые ходят, — сказал Ткачук.

— А как?

Ткачук помолчал.

— Кто бережёт, тот на больную ступает легко. Шаг короткий. Перекладывается на здоровую. — Он показал на носок, вдавленный в корку. — А этот на неё — сильнее. Глубже, чем на здоровую. Будто она у него… — Он не договорил. — Не знаю.

Помолчал ещё.

— Не уверен.

— Повтори, — сказал Багров.

Ткачук посмотрел на него снизу. Покраснел — уши под шапкой стали тёмными. Решил, наверное, что над ним опять смеются, как с банкой. Багров ждал. Тогда Ткачук повторил — медленнее, по порядку: целый след, носок, носок без пятки, столб, балка. На больную наступает сильнее, чем на здоровую.

Багров слушал и укладывал это в голове по пунктам, с номерами. Он не знал, что это значит. Знал, что запомнит. Человек был здесь сегодня утром. Тяжело наступает на одну ногу. Лезет по столбу без лестницы. Сейчас он наверху — или был наверху.

Он поднял голову. Галерея над ними тянулась вдоль всего крыла, тёмная, с перилами из точёных балясин. Двери вдоль неё были закрыты. Ничего не двигалось.

— Понял, — сказал Багров. — Пошли.

Ткачук поднялся. Уши у него всё ещё горели. Но, проходя мимо, Багров увидел, что лицо у него другое — не обиженное. Сосредоточенное. Как у ученика, которого вызвали к доске и не стали ругать, а попросили объяснить остальным.

* * *

Дверь в западный конец главного корпуса была не заперта.

За ней оказались каменный коридор, узкая лестница — наверх и вниз — и запах. Не тот, которого Багров ждал, — не гарь, не кровь, не мертвечина. Холодный камень. Оружейное масло. Табак. Мокрая шерсть, которая высохла и снова отсырела. На полу у порога — натёки от снега, растаявшего и снова замёрзшего: много раз входили и выходили, а потом перестали.

Дальше была комната — большая, когда-то гостиная. Немцы сделали из неё дежурку. Посередине — стол, сдвинутый из двух. На столе — полевой коммутатор: ящик с гнёздами, шнуры с медными штекерами, свисающие, как сбруя. Чёрные провода тянулись к нему через щель в оконной раме, по полу, в несколько рядов. На стене — большая карта: Восточная Пруссия, озёра голубыми кляксами, флажки на булавках. Флажки стояли там, где фронт был в декабре. Никто их не передвигал.

В углу — пирамида для винтовок. Три карабина, чищеные, с ремнями. Под окном — ящики: галеты, консервы, неначатые. На столе, рядом с коммутатором, — стопка писем, перевязанная шпагатом, с полевыми штампами. Неотправленные. Верхний конверт подписан детской рукой, большими кривыми буквами, и на нём нарисована ёлка.

Кружка. Жестяная, эмалированная, с отбитым краем. Чай в ней промёрз до дна, и сверху лежала ледяная корка, ровная, как стекло.

Козырев тронул корку пальцем.

— Не сегодня, — сказал он.

Багров обошёл комнату. Он делал это так, как проверял когда-то контрольные — не читая, а сначала глядя, чего не хватает. Оружие на месте. Еда на месте. Письма на месте. Пепел в камине — обычный, дровяной, без бумаги: документов не жгли. Ничего не разбито, ничего не перевёрнуто. Ни одной гильзы на полу.

Часть, которая отступает, забирает оружие и еду. Часть, которую разбили, оставляет тела. Эта не забрала ничего — и её нет.

Из гостиной вела дверь на север, в комнату поменьше. Козырев оказался у этой двери раньше, чем Багров открыл рот, — стоял сбоку, у косяка, с автоматом наготове, ровно там, куда Багров собирался его поставить. Опять раньше команды. Багров подумал, что надо будет когда-нибудь сказать ему об этом, и знал, что не скажет: Козырев вставал туда, куда нужно.

* * *

Радиостанция стояла в бывшем кабинете, у северной стены, на тяжёлом письменном столе, отодвинутом от окна.

Два серых ящика, один на другом, с рукоятками и шкалами, — приёмник и передатчик. Ключ, привинченный к доске. Кабель уходил вверх, в потолок, к мачте. На полу — ящики с аккумуляторами. Рядом с рацией в дубовую панель стены был вбит гвоздь, и на гвозде висели наушники, аккуратно, дужкой вверх, проводом в петлю.

Рация была цела. Её не разбили прикладом, не выдрали ламп, не прострелили. Отходящий связист разбивает рацию первым делом, раньше, чем надевает шинель. Этой никто не тронул.

Сейф для документов — низкий железный ящик под столом — стоял открытым и пустым.

Кодов нет, подумал Багров. Офицер унёс. Или офицер здесь.

На столе, сбоку от рации, лежал журнал. Толстая тетрадь в сером коленкоре, с полями, разлинованная в графы: дата, время, корреспондент, текст, подпись. Рядом — два карандаша. Один — огрызок в палец длиной, обгрызенный с тупого конца до самого грифеля. Второй — новый, длинный, заточенный ножом аккуратно, гранями, как точат для черчения.

Юрка грыз карандаши так же — с тупого конца, до грифеля. Нина ругалась. Багров мимоходом подумал об этом, отложил огрызок и открыл журнал.

Он читал по-немецки так, как говорил: медленно, служебно, хватало на допрос, на приказ и на ведомость. Здесь больше и не требовалось.

Ноябрь. Первые записи — размашистые, разными почерками, с сокращениями, с кляксами. Позывные, время, цифровые группы. Кто-то на полях нарисовал свинку с крылышками. В начале декабря на полях появилась ёлочка в три штриха. Записи частые, неровные, живые: связь есть, связь пропала, повтор, помехи.

С середины декабря почерк остался один. Записи стали короче. Утром, в полдень, вечером, по расписанию. Связь — доклад — квитанция. И доклад был один и тот же:

k.b.V.

Keine besonderen Vorkommnisse. Без особых происшествий.

Он листал. Двадцатое декабря — *k.b.V.* Рождество — *k.b.V.*, и больше ничего, ни ёлочки, ни слова. Новый год — *k.b.V.* Шестое января. Двенадцатое. Восемнадцатое. Утро, полдень, вечер. Без особых происшествий. Без особых происшествий. Без особых происшествий.

И почерк.

Восемь лет он проверял тетради. Он знал, как меняется почерк. В конце четверти, когда дети устали, буквы расползаются и валятся вправо. На контрольной, когда страшно, рука дрожит, строчки ползут вверх. Почерк человека, которого бьют холод, голод и страх, становится хуже. Всегда хуже.

Этот становился лучше.

В декабре он был беглый, с наклоном, с рваными хвостами. К январю буквы выпрямились. Встали вертикально, все одной высоты. Хвосты укоротились до одинаковой длины. Строчки шли так ровно, будто под них подкладывали линейку. Время в первой графе писалось одинаково — каждая цифра каждый раз одной и той же формы, словно оттиснутая. Подпись — одна буква, *N.*, с одной и той же петлёй, всегда на одном месте.

Так пишут на чистовик, подумал Багров. Так пишут, когда переписывают с доски. Не понимая — просто повторяя.

Он отогнал это. Дисциплинированный радист. Немцы это умеют. Сидит человек в глуши, делать нечего, связь по расписанию — вот он и выводит буковки. Дисциплина.

Двадцать первое января. Утро — *k.b.V.* А в четырнадцать десять — входящая. Другим, торопливым почерком того же радиста, прямо со слуха: *…Funkstelle… sofort absetzen… Richtung Lötzen…* Немедленно отходить в направлении Лётцена. Приказ. Ниже — ответ поста. Одно слово:

Verstanden.

Понял.

Багров перечитал. Приказ получен. Принят. Квитирован. Пост ответил, что понял, — и остался.

Он перевернул страницу.

Двадцать второе января. Шесть ноль-ноль: вызов. Корреспондент не отвечает. *k.b.V.* Двенадцать ноль-ноль: вызов, корреспондент не отвечает, *k.b.V.* Восемнадцать ноль-ноль — то же. Почерк прежний — ровный, вертикальный, безупречный. Корпус, который должен был отвечать, двадцать второго, надо думать, уже сворачивался и уходил к Лётцену, как и все. Пост вызывал пустоту и докладывал пустоте, что происшествий нет.

Вчера или позавчера за постом пришла машина, и шофёр истёк кровью за рулём посреди двора. В журнале за эти дни не было ничего, кроме трёх букв. Без особых происшествий.

Двадцать третье января. Шесть ноль-ноль. Вызов. Не отвечает. *k.b.V.* Двенадцать ноль-ноль. Вызов. Не отвечает. *k.b.V.*

Сегодня. В полдень.

Багров посмотрел на гвоздь. На наушники, висящие дужкой вверх. На новый карандаш, заточенный гранями. Сегодня в полдень, когда они сидели на поваленном стволе в лесу и Вера

перематывала Ткачуку портянку, за этим столом сидел человек, надевал наушники, вызывал корпус, которого нет, слушал тишину, снимал наушники, вешал их на гвоздь — дужкой вверх, проводом в петлю — и писал своим вертикальным почерком, что происшествий нет.

Он заметил, что у него замёрзли руки. Странно, что только сейчас: руки мёрзли с утра.

Значит, так, подумал он, и голова сама начала раскладывать по пунктам. Пост не брошен. Приказ на отход получен и не выполнен. Кто-то здесь командует так, что приказ корпуса для него — не приказ. Четверо не согласились и ушли — вчера или позавчера, торопились. Машина, пришедшая за постом, осталась с убитым шофёром. Из четырнадцати по ведомости ушли четверо. Сколько осталось — неизвестно. Здесь они — или были здесь в полдень.

Объяснение складывалось. Оно было разумное, военное, оно всё связывало. Фанатик-офицер. Раскол. Дезертиры.

Ему было холодно.

Журнал он закрыл и сунул в планшет. Это — первое из того, за чем их послали. Карту со стены Козырев уже снимал, выдёргивая булавки и складывая их в спичечный коробок, — аккуратно, все до одной.

* * *

Дверь из гостиной на восток выходила в зал.

Багров не стал входить. Он встал у косяка и посмотрел — сначала вверх, потом по стенам, потом вниз, как учил своих смотреть в незнакомое помещение: сначала туда, откуда стреляют, потом туда, где прячутся, и только потом туда, куда идёшь.

Зал был высокий, в два этажа, тёмный. Солнце уже ушло за западное крыло, и через окна во двор шёл серо-синий, остывающий свет. По стенам, тесно, одна над другой, висели головы — олени, косули, кабаньи морды с жёлтыми клыками. Рога, рога, целые ветвистые рощи рогов. Шкуры на полу. Над камином — ружья накрест.

Вдоль трёх стен, на высоте второго этажа, шла галерея — деревянная, с балюстрадой. Выше — стропила, балки, темнота под крышей. С галереи весь зал был виден, как с колокольни.

А в дальнем её конце, у восточной стены, на массивной раме висел гонг. Медный круг больше колеса телеги, тёмный, тусклый, с выпуклой серединой. Рядом на крюке — колотушка с обмотанной головкой.

Охотничий гонг, подумал Багров. Звать к обеду, собирать загонщиков.

И сразу, без перерыва, подумал по-другому: один удар — и об этом узнаёт весь дом. Сигнал. Тревога. Сбор. Кто стоит у гонга, тот видит весь зал и говорит со всем домом. Кто может туда подняться? По какой лестнице? Сколько секунд от галереи до любого выхода?

Он не знал ни одного ответа.

* * *

Он посмотрел на часы. До заката — минут пятнадцать.

Можно было уходить. Журнал — в планшете, карта — у Козырева. Обратно тем же путём, по ложбине, вдоль опушки, и к ночи, часов через пять, они будут на развилке у горелого хутора, задолго до срока. Северин скажет: молодцы. Майор спросит: а противник? И Багров скажет: не знаю. Сколько? Не знаю. Где коды? Не знаю. Кто вчера стрелял в шофёра? Кто в полдень выходил на связь? Кто лезет по столбу, наступая на больную ногу сильнее, чем на здоровую?

Не знаю.

И это было не главное. Главное было вот что: от ворот до опушки — семьсот метров открытого снега. Двадцать два окна. Две галереи. Если в доме есть хотя бы один человек с винтовкой и хоть немного терпения, он перещёлкает их в поле по одному, как в тире, и не торопясь. В поле сильна винтовка из окна. В доме, на десяти шагах, в коридоре, за углом — автомат. В доме сильны они.

Противника за спиной не оставляют. Этому Багрова не учили — это он вычислил сам, в сорок третьем, и записал в книжку четыре фамилии, прежде чем вычислил.

Объект не обследован. Документы не найдены. Противник — неизвестно сколько, неизвестно где, но здесь.

— Осматриваем дом, — сказал он. — Сначала первый этаж. Наверх — потом. Ткачук…

Над залом скрипнуло.

Коротко. Одна доска — на галерее, наверху, где-то справа, в темноте под стропилами. Так скрипит половица, когда на неё переносят вес. Не ветер. Не мороз. Мороз в дереве трещит, как выстрел, а это был скрип — короткий, живой, осторожный.

Все четверо стояли не дыша. Багров смотрел вверх, на галерею, в темноту, и считал секунды, и в зале было так тихо, что он слышал, как у Веры за спиной звякнула о пряжку медицинская сумка — и замерла.

Больше не скрипело.

Глава третья. Пустой пост

23 января 1945 года

Вера считала.

Скрипов больше не было — теперь своё дыхание: вдох на четыре, выдох на четыре, медленно, через нос, чтобы пар не шёл облаком. Так её учили в санбате дышать над раненым, когда у тебя трясутся руки, а ему нельзя этого видеть. На двадцатом вдохе Багров опустил автомат на ладонь ниже. На тридцатом — показал рукой: вдоль стены. Не наверх. Вдоль.

Они пошли вдоль стены зала, под галереей, туда, где темнее, — так, чтобы сверху их закрывал настил. Вера шла последней и смотрела назад. Назад — это было её. Головы на стенах смотрели на неё стеклянными глазами — олени, косули, кабан с задранной губой. Глаза ловили остаток света из окон и держали его, как вода в колодце. Она запретила себе на них смотреть и всё равно смотрела.

Из зала дверь вела в вестибюль — квадратный, высокий, с каменным полом в шашку и широкой лестницей наверх. Парадная дверь во двор была закрыта на засов изнутри. В углу стояла печь — огромная, до потолка, в белых изразцах с синими кораблями.

Вера сняла рукавицу и приложила ладонь к изразцу.

Лёд. Глазурь была гладкая и холодная, как стекло в мороз. Она держала руку и считала про себя, как считают пульс: десять, двадцать, тридцать. На сороковом счёте из глубины, из-под глазури, пришло тепло. Слабое. Едва различимое — так держит тепло тело, которое остывает вторые сутки: кожа давно холодная, а в глубине, под мышкой, у самого сердца, ещё есть.

— Топили вчера, — сказала она. — Может, утром. Потом перестали.

Багров кивнул. Он и сам, наверное, понял. Но он кивнул так, как кивал всегда, когда она говорила что-то по своей части: принял, записал.

В доме пахло деревом. Старым, сухим, промёрзшим — так пахнут церкви и амбары. Поверх дерева — оружейным маслом, мокрой шерстью, табаком, кожей. Где-то совсем слабо — спиртом. Вера втянула воздух ещё раз, глубже, и нашла то, чего искала: ничего. Ни сладкого, ни тухлого, ни приторного. Если в доме лежат мёртвые, на таком холоде они пахнуть не будут ещё неделю. Но всё-таки — ничего.

А потом она увидела шинель.

* * *

Он лежал у стены справа от парадной двери, на каменном полу, ногами к двери. Его накрыли с головой немецкой шинелью — серо-зелёной, с тёмным воротником, — аккуратно, ровно, края подоткнуты. Из-под шинели торчали сапоги, носками вверх, вместе.

Так не бросают. Так укладывают.

Козырев встал у лестницы, лицом наверх. Ткачук — у двери в зал. Багров посмотрел на Веру, и она присела и отвернула край шинели.

Лет тридцать пять. Небритый, с рыжеватой щетиной. Лицо серое, спокойное, глаза закрыты — кто-то их закрыл. Ватная куртка, какие немцы носят за рулём, поверх кителя. На куртке слева, на груди, — дыра, маленькая, аккуратная, и вокруг неё сукно опалённое, бурое, с чёрной россыпью мелких точек, как от перца.

Порошинки. В упор, подумала Вера. На длину руки. Из кабины. С соседнего сиденья.

Она расстегнула куртку, потом китель. Рубаха под ним стояла колом от замёрзшей крови. Входное — одно, под левым соском, чуть внутри. Она просунула руку ему под спину, нащупала выходное — пальцем, через рубаху, — и отняла руку. Достаточно.

Когда она возвращала его на место, из складки шинели под ним выкатилось что-то и звякнуло о камень. Вера подняла. Пуля. Сплющенная с носа, в медной оболочке, тяжёлая для своего размера.

— Дай, — сказал Козырев от лестницы.

Он не обернулся, просто протянул назад руку. Вера вложила пулю в ладонь. Козырев покатал её в пальцах, не глядя, как катал свою латунную втулку, потом полез в карман и достал гильзу — короткую, латунную, с ободком.

— В кабине валялась. Под педалями. — Он примерил пулю к гильзе, как примеряют гайку к болту. — Девять миллиметров. Ихняя. У нас таких нет.

— Сходится, — сказал Багров.

Он сказал это тихо, самому себе. Вера поняла, что у него сходится: свои стреляли в своего. Сходилось и у неё — только в другом месте. Немецкая пуля в немце. Застрелили в упор, с соседнего сиденья. Потом кто-то вынул его из кабины, принёс сюда, через двор, по снегу, — тяжёлого, мёртвого, — положил ровно, ногами к двери, закрыл ему глаза, укрыл с головой шинелью и подоткнул края.

Кто стреляет, тот обычно не подтыкает края.

Правую руку убитого, лежавшую у него на груди, она отвела в сторону, когда расстёгивала куртку, и теперь рука лежала на камне ладонью вверх. Пальцы скрюченные, серые, с чёрной каймой под ногтями — шофёрские. На безымянном — кольцо. Гладкое, жёлтое, тонкое. Обручальное. У немцев, как у нас, — на правой.

Вера увидела, что Козырев смотрит на кольцо — секунду, может две. Потом он отвернулся к лестнице.

Она взяла мёртвую руку за запястье — холодную, тяжёлую, как деревянная, — положила её под шинель, вдоль тела, и укрыла его снова. С головой. И подоткнула края.

* * *

Перевязочная была в восточной половине дома.

Вера нашла её по запаху раньше, чем Ткачук открыл дверь: спирт, йод и ещё что-то аптечное, жёлтое, знакомое — риванол. Ткачук заглянул, повёл стволом по углам, кивнул — и она вошла раньше Багрова. Багров её не остановил.

Комната была когда-то столовой. Тёмные панели на стенах, буфет с резными дверцами, и посередине — обеденный стол, длинный, низкий, накрытый клеёнкой в мелкую клетку. Клеёнка в одном месте вытерлась до белого, а в другом — у края — потемнела и пошла пятнами. На паркете под этим краем пятна были тоже — старые, затёртые, въевшиеся в доски.

Вдоль стены стояли ящики. Немецкие санитарные укладки — зелёные, с белыми кругами и красными крестами. Вера откинула крышку первой укладки и почувствовала, как у неё вспотели ладони.

Бинты — бумажные, гофрированные, немцы теперь только такими и бинтовали, но и такие годились. Вата. Марля в пакетах. Банка порошка с длинным названием — она прочла по буквам: *Marfanil-Prontalbin* — и узнала: стрептоцид, немецкий, для засыпания ран. Под банкой — коробка ампул. Она подняла одну к свету. *Morphin.* Целая коробка. Рядом — ещё одна: *Novocain.*

Во второй укладке, в плоском футляре на сукне, лежали иглы. Хирургические, кривые, разной величины — от крохотных, как ресничка, до толстых, как рыболовный крючок, — разложенные по порядку, по номерам, остриями в одну сторону. А в узкой жестяной коробке, в спирту, стояли стеклянные трубочки, запаянные с обоих концов, и в каждой — свёрнутая колечком тонкая желтоватая нить.

Кетгут. Стерильный, фабричный, в ампулах. И рядом, на стеклянных катушках, — шёлк.

Вера стояла над этим, как над кладом.

Шовного материала санинструктору не положено. Её дело — остановить, перевязать, наложить шину, вколоть и дотащить до тех, кто будет шить. За три года она шила четыре раза — суровой ниткой, прокипячённой в котелке, обычной иглой, выпрошенной у старшины, — и все четыре раза, когда некому было дотащить. Здесь лежало столько, что хватило бы на санбат.

— Мародёрствуешь, сестра? — сказал Козырев от двери. Беззлобно.

— Трофей, — сказала Вера.

Она подумала про часы в снегу у крыльца в Бенкхайме. Про пьяного с маятником под мышкой. Про то, что сейчас делает то же самое. Нет — не то же. Это она знала твёрдо. И всё-таки подумала.

Она взяла шёлк — все катушки. Кетгут — всю коробку. Иглы — футляр целиком, вместе с сукном. Морфий и новокаин — сколько влезло в сумку, рассовывая ампулы между бинтами, чтобы не побились. Порошок. Шприц — немецкий, стеклянный, в металлической коробочке. Сумка раздулась и потяжелела.

Здесь работал аккуратный человек. Иглы — по номерам. Ампулы — по сортам, этикетками в одну сторону. Бинты — скатаны туго, ровно, одним движением, она узнала это движение по скатке. Такими она скатывала сама. Она подумала, что с этим человеком можно было бы работать в одной перевязочной: он не стал бы спрашивать, где что лежит. Потом подумала: это немец. Потом — что одно другому не мешает. Немецкие руки, русские руки. Скатка одна.

Таз стоял на табурете у окна. Обычный, эмалированный, с отбитым краем. Вода в нём замёрзла до дна, и лёд был розовый — бледный, разведённый. Кто-то мыл здесь руки после работы. Потом в доме перестали топить, и вода встала.

На подоконнике, рядом с тазом, лежало то, что было не отсюда.

Иглодержатель — старый, тяжёлый, с рукоятками из чёрного дерева и латунным замком. Такой она видела только на картинке в учебнике, в главе про историю хирургии. Пинцет, тоже старый, с костяными щёчками. Кривая игла странной формы — трёхгранная на конце, как штык. И стеклянная банка — пустая, с притёртой крышкой, обмотанной вощёной тканью. На дне — серая корка соли. К горлышку была привязана жёлтая восковая бирка, на ней выдавлены цифры: *1931*.

Вещи были старше её бабки. И были хорошие — она взвесила иглодержатель на ладони: замок ходил мягко, щёлкал точно. Пыли на нём не было. Им пользовались. Недавно.

Вера положила его обратно на подоконник, на то самое место, где он лежал. Брать не стала.

* * *

В зале стало темнее. Солнце село, и окна во двор из серых сделались синими.

Багров велел осмотреть первый этаж целиком, до ночи, и они осматривали: двери, шкафы, углы — быстро, по порядку, как осматривают дом в деревне, откуда только что ушли немцы. Ткачук открывал, Козырев прикрывал, Багров смотрел. Вера ходила за ними и смотрела туда, куда они не смотрели.

У северной стены зала, между двумя дверями, стояла горка — высокий шкаф со стеклянными дверцами, вроде тех, в которых держат посуду. Здесь в нём держали мелкие трофеи. Клыки на бархате. Когти. Копытца. Связка бурых медвежьих когтей на шнурке. Ряд маленьких тёмных косточек, отполированных до блеска, — Вера не сразу узнала, что это зубы. Оленьи, наверное: на каждом было просверлено отверстие и вставлено серебряное колечко, как в серёжку.

Ниже, на нижней полке, стояла коробка. Деревянная, тёмная, с медными уголками. Без надписи. Вера открыла её — сама не зная зачем. Наверное, потому, что она была без надписи, а всё остальное здесь было подписано.

Внутри, на выцветшем зелёном сукне, лежала кость. Обломок челюсти — нижней, с тремя зубами. Она решила, что оленья, как остальное в шкафу. Потом взяла её в руки — и положила обратно.

Зуб был человеческий. Малый коренной, второй: эту форму она знала по атласу в фельдшерской школе. Вокруг лежали ещё — отдельно, россыпью, в ячейках сукна, как пуговицы в

коробке у портнихи. Человеческие. Жёлтые, старые, с потемневшими корнями. Только с ними было что-то сделано.

Их подпилили. Аккуратно — у одних срезали верхушку, у других стесали бока, у третьих пропилили посередине бороздку. Для красоты так не пилят. Так подгоняют деталь к детали.

А в челюсти, между тремя оставшимися зубами, были гнёзда. Пустые лунки — высверленные, с ровными краями, с зелёной окисью на кости, как от металла. Рядом в ячейке, на сукне, лежал клык — длинный, острый, явно не человеческий, с такой же зелёной окисью на корне и с бороздкой. Он подходил к лунке. Вера видела, что он подходит, и не стала проверять.

Всё было старое. Сухое, жёлтое, пыльное. Сукно выгорело. Медные уголки коробки потемнели. Тому, что здесь лежало, было лет двадцать, тридцать — больше.

Козырев заглянул ей через плечо.

— Это чьё? Хозяйское? — Он хмыкнул. — Зубной техник у них, видать, был. Баре баловались.

Он протянул руку — к клыку, к самому длинному.

— Руками не трогай, — сказала Вера.

Сказала резко, громче, чем хотела, и в высоком зале звук ушёл вверх, к галерее, и вернулся. Козырев убрал руку. Посмотрел на неё — без обиды, внимательно.

— Да я так, — сказал он.

— Знаю. Не трогай.

Она закрыла крышку. Баре баловались. Хорошо бы так. Она видела немало того, что люди делают с людьми, когда им это можно, — и в Белоруссии, и здесь, в Пруссии, за последние дни, — и знала, что бывает такое, чему нет названия, а есть только причина: потому что можно. Баре. Старые господа, у которых было всё, и от скуки. Это было понятно. Это было почти легко.

Трудно было другое: работа была хорошая. Пилили точно. Сверлили ровно. Так работает человек, который знает, что делает, и делает это не в первый раз.

* * *

Грохнуло за окнами, со стороны западного крыла.

Длинно, глухо, с шорохом — и мягкий тяжёлый удар во дворе. Ткачук вскинул руку раньше, чем звук кончился. Все присели. Багров был уже у окна, сбоку, у простенка, и смотрел наружу одним глазом.

За стеклом, сверху вниз, ещё сыпалась белая пыль. С крыши западного крыла съехал пласт снега и лёг под стеной длинным сугробом.

— Снег, — сказал Багров.

— Ещё один немец, — сказал Козырев. — Цейсовский.

Ткачук встал. Уши у него опять потемнели.

— Я ничего не говорил, — сказал он зло.

— Да ладно, Паш.

— Я ничего не говорил. Я руку поднял. Для того руку и поднимают.

Он сказал это в пол, и Вера впервые за весь день увидела, что Ткачук злится. По-настоящему: губы белые, пальцы на автомате стиснуты. Козырев ничего не ответил. Посмотрел на Ткачука, потом на Багрова и отошёл к своей двери.

Ткачук был прав. Козырев был прав по-своему: пошутить — значит отпустить. Стало бы легче, если б Ткачук засмеялся. Ткачук не засмеялся. Ему был двадцать один год, и над ним за день посмеялись уже дважды, и оба раза он поднял руку правильно.

Вера подошла к Ткачуку и встала рядом — просто встала, плечом к плечу, лицом к залу. Он не посмотрел на неё. Но пальцы на автомате разжались.

* * *

Второй раз скрипнуло через четверть часа.

В первый раз была одна доска — коротко. Теперь шло: доска, ещё доска, ещё — медленно, по очереди, слева направо, по галерее, наверху. Так идёт человек, который не хочет, чтобы его слышали, и знает, на какие половицы ступать, а на какие нет, — и всё-таки ступает.

Вера подняла голову.

Наверху, на галерее, было почти темно. Балюстрада — точёные столбики, перила, — и за ней ничего. Потом на перила, у дальнего угла, легла рука.

Голая, без перчатки. Белая — в сумраке она светилась, как светится в темноте бумага. Рука лежала на перилах спокойно, плашмя, пальцы чуть свешивались. Секунду. Две. Потом её не стало, и в просвете между столбиками мелькнул сапог — каблук, подковка, голенище — и край шинели, серо-зелёный, обтрёпанный.

И всё. Скрип ушёл влево, за угол галереи, в глубину дома, и стих.

Никто не выстрелил. Вера поняла, что не дышала, только когда в груди заныло.

— Я сниму, — сказал Козырев.

Он уже шагнул к лестнице.

— Нет, — сказал Багров.

— Командир. Он там один. Я его…

— Нет.

Багров не повысил голос. Он стоял, глядя вверх, на пустые перила, и говорил, как диктовал:

— Галерея — три стены. Лестница — одна. Наверху темно. Он знает дом, мы нет. Ты поднимешься — он будет за углом. Не поднимешься — он будет за углом всё равно, но ты будешь здесь. Наверх не идём.

Козырев постоял. Потом вернулся к своей двери. Вера видела, как у него на скуле ходит желвак — точно так же, как у Багрова, когда тот злится. Она подумала, что за полтора года они стали похожи, как бывают похожи старые супруги. Сказать это вслух она бы не решилась.

* * *

Свет за окнами переменился.

Вера заметила это не сразу: в зале стало светлее, а должно было темнеть. Синие окна побелели. На полу, от южных окон, легли длинные косые полосы — бледные, холодные, с чёткими краями, перечёркнутые тенями переплётов. Они лежали на шкурах, на досках, ползли по ножкам столов.

Она подошла к окну, сбоку, как Багров, и посмотрела.

Луна стояла высоко, на юго-востоке, над стеной, левее ворот. Большая, белая, почти полная, с чуть сплющенным боком. И двор под ней был белый — белее, чем днём: днём снег серый, а сейчас он светился сам, весь, до последнего сугроба. Грузовик посреди двора стоял чёрный, вырезанный, и тень от него лежала на снегу резкая, как нарисованная тушью. Водосбор. Столбы галереи. Каждая колея. Каждый след. Их собственные следы — от ворот, вдоль стены, под навес — она различала отсюда все, четыре цепочки.

Багров стоял у соседнего окна. Он смотрел на луну, и Вера видела, что губы у него шевелятся. Он считал.

— Взошла около полудня, — сказал он вслух. — Почти полная. Ходит, как солнце: полсуток над землёй, плюс-минус. Значит, к восьми вечера будет на юге, выше всего. Сядет часа в четыре утра.

Он говорил по пунктам, как у доски, и Вера поняла, что для себя он давно сосчитал, а вслух это — для них. Чтобы они видели, откуда ответ.

— До развилки — четыре часа ходу, ночью, по нашему следу. Выйдем в четыре — к восьми будем. — Он отошёл от окна. — Уходим, когда сядет луна.

— В четыре? — Козырев повернулся. — Это ж двенадцать часов. Сидеть тут.

— Одиннадцать.

— Командир. Через двор сейчас — темно станет, проскочим…

— Не станет. — Багров кивнул на окно. — Сам посмотри. До четырёх — так.

Козырев посмотрел. Долго. На белый двор, на чёрный грузовик, на тени.

— Через двор — сорок метров, — сказал Багров. — Потом поле — семьсот. Луна — над воротами, светит нам в лицо. Мы на снегу, как мухи на скатерти. А окна — за спиной, чёрные. Сколько их там, мы не знаем. Знаем, что один в полдень выходил на связь, а другой сейчас гулял по галерее.

— А в лесу пересидеть? До темноты?

Это сказал Ткачук. Тихо, ещё сердито.

— До четырёх утра? — сказала Вера.

Все посмотрели на неё. Она не собиралась говорить. Но это было её.

— На двадцати градусах. Сидя в снегу. Все мокрые — с утра по колено в снегу, под ватниками всё мокрое, я знаю. Ткачук со стёртой пяткой. — Она помолчала. — Одиннадцать часов. Я к утру буду у вас пальцы считать. У кого сколько осталось. А потом ещё четыре часа идти — на чём?

Никто не ответил.

— Здесь стены, — сказала она. — Здесь можно затопить — одну печку, в маленькой комнате, окно завесить. Портянки высушить. Поесть. Поспать по очереди. Если уходить в четыре — уходить надо сухими. Иначе раненых и обмороженных у меня будет больше, чем здесь.

Она сказала «здесь» — и сама не поняла, что имела в виду: больше, чем здесь сейчас, — или больше, чем будет, если они останутся. Ни то ни другое она не знала.

Багров посмотрел на неё. Коротко. Так, как смотрел, когда она в лесу сказала «пять минут», — как на цифру, которая сошлась с ответом.

— Впритык, — сказал Козырев. — К восьми — впритык.

— Впритык — это как раз, — сказал Багров.

Козырев помолчал. Повёл плечом. Вера видела, что ему не нравится всё: и дом, и галерея, и одиннадцать часов, и то, что он не полез наверх, — и что он понимает. Он всегда понимал. Это и было в нём самое тяжёлое: понимать и не соглашаться в одно и то же время и носить это в себе молча, как носят осколок, который не стали вынимать.

— Ладно, — сказал Козырев.

Багров подул на пальцы. Руки у него были голые — рукавицы торчали из-за ремня. Вера хотела сказать: надень. Слово уже было у неё во рту.

Она вспомнила: «Держись внутренней стороны». — «Сама вижу».

И не сказала.

* * *

В углу зала, у двери в вестибюль, стояло пожарное ведро — красное, конусом, на крюке, с буквами по боку. Вода в нём замёрзла. Вера сняла его, поставила на пол, ударила по льду рукоятью ножа — раз, другой, — лёд треснул, и под ним стояла чёрная вода.

Она сняла рукавицы. Сунула руки в ведро.

Холод ударил в кости, сразу, до локтей, так, что заломило зубы. Она тёрла ладонь о ладонь, пальцы, между пальцами, запястья, — как всегда, как привыкла за двенадцать лет: сначала одну руку, потом другую, потом ногти, потом снова. Ничего ещё не было. Ни раны, ни крови, ни работы. Был один мёртвый шофёр под шинелью, у которого она нащупала выходное отверстие и положила руку вдоль тела. И коробка с зубами.

Она мыла руки. Так было надо. После мёртвого — моют.

Пальцы перестали чувствовать воду. Она вынула руки и стряхнула. Багров смотрел на неё от окна — она чувствовала это затылком — и ничего не говорил. Он видел это сотню раз и ни разу не спросил.

Вода с пальцев капала в ведро. Капли были слышны каждая.

И тогда, далеко — за залом, за вестибюлем, за двором, в другом крыле, в западном, — ударила очередь.

Короткая. Патронов пять-шесть. Не наш — темп реже, чем у ППШ, неторопливый, мерный: та-та-та-та-та. Немецкий автомат. Звук пришёл глухо, через стены и снег, и в высоком зале отдался под стропилами — дважды, второй раз тише.

Не в них. Там не было никого из них. Там вообще, по их счёту, не было никого.

Потом стало тихо.

Вера стояла с мокрыми руками и слушала эту тишину. Никто больше не стрелял. Никто не кричал. Не хлопнула дверь, не заскрипело. Как будто там, в западном крыле, кто-то сделал короткую, нужную работу — и закончил.

С её пальцев в ведро упала ещё одна капля.

Интерлюдия первая

Из журнала санитарного унтер-офицера Ф. Мааса
14 ноября — 10 декабря 1944 года. Перевод с немецкого

14.XI.44. Прибыли в 15.20. Три машины, четырнадцать человек, всё имущество цело. Дорога от шоссе — одна, лесом, в колеях вода. Дом большой, старый, охотничий. Строили, видно, в разное время: низ каменный, верх деревянный. Головы оленей везде, даже на лестнице. Хартман сказал, что они смотрят. Я сказал, что у них стеклянные глаза. Он сказал, что именно поэтому.

Управляющий умер на прошлой неделе. Похоронен за часовней, земля на могиле свежая. Из прислуги — двое: старик-поляк при лошадях и девушка с востока, Ганна. По-немецки говорит мало и плохо. Кранц велел их не трогать и кормить из нашего котла.

15.XI. Связь развернули к обеду. Мачту ставили на коньке шестеро, Адлер — выше всех, без страховки. Кранц его отругал и потом при всех похвалил.

Перевязочную устроил в бывшей столовой, восточная половина главного дома. Стол низкий, но лучшего нет. Свет плохой.

Восточное крыло заперто. Западное — наполовину: где кухня и кладовые, открыто, там разместились люди. Дальняя часть, бывшие псарни, заперта на висячий замок. Ключи от всего — на связке покойного управляющего, с бумажными бирками. Связка у Кранца.

16.XI. Обходил двор. Через окно восточного крыла видел комнату со столом — высоким, с цинковой окантовкой, с желобом по краю. Над столом крюк для лампы. Кранц: «Для разделки дичи». Хорошая вещь. Мне бы такой.

17.XI. Ганна два раза в день носит вёдра в западное крыло, к запертой части. Варит на кухне овсянку, отдельно от нашего. Спросил: для кого. Сказала: *Für die Alten. Krank.* Для стариков. Больные. Больше ничего не сказала, смотрела в пол.

Из-за двери, когда она отпирает, пахнет кормом и псиной. Ключ от замка — у неё, на шнурке, на шее.

Спросил Кранца. Кранц сказал: «Не ломать. Чужая собственность. У семьи могут быть свои причины». Я думаю, что знаю эти причины. В сорок первом из Лангенхорна в Гамбурге тоже увозили больных, и никто из них не вернулся. Если семья прятала своих — я их понимаю.

Дальше об этом не пишу.

19.XI. Приезжал человек из Ангербурга, в партийной форме, с подводой. Эвакуация рабочей силы. Забрал поляка и Ганну. Ганна плакала и всё повторяла: *Die Alten. Die Alten.* Человек смеялся. Ключ со шнурка она отдала мне. Я отдал Кранцу.

Кранц спросил по команде, что делать с больными в запертом флигеле. Ответа нет.

Кто теперь будет их кормить?

23.XI. Ночью в западном крыле скребутся. Часовой доложил. Я ходил слушать. Скребут по дереву, ровно, долго. Потом перестают. Потом снова. Не крысы.

26.XI. Видел одного. Через решётку окна в дальнем конце западного крыла. Старик, худой, седой, коротко стриженный. Стоял у решётки и смотрел во двор. Я поднял руку. Он не поднял. Он не смотрел на меня — смотрел туда, откуда Ганна обычно шла с вёдрами.

Отнёс хлеб и положил между прутьями решётки.

27.XI. Хлеб лежит, где я его положил. Замёрз. Не тронут.

30.XI. Адлер говорит, что это из-за меня: не берут из чужих рук, как собаки. Адлер вырос на хуторе и знает собак. Хлеб я положил ещё раз. Не тронут.

Скребутся каждую ночь.

3.XII. Нойман по вечерам перебирает чётки. Он из Пассау, католик. Здесь кругом протестанты, ближайшая католическая церковь, говорят, в Лётцене. Нойман сказал: ничего, Бог

найдёт. Хороший радист. Слышит то, чего не слышат другие, — Кранц говорит, что у него уши как у летучей мыши.

Кранц — хороший офицер. Бреется каждое утро холодной водой и требует того же от нас. Каждый вечер пишет матери в Кведлинбург. Людей знает по именам, включая кашевара.

6.XII. Хартман выставил на ночь сапог за дверь, как дома, на Николая. Утром нашёл в нём два куска сахара. Кто положил, никто не признаётся. Он весь день ходил счастливый. Ему девятнадцать лет. Зовёт меня Фрицем. Я не возражаю: здесь он самый младший, и ему нужно кого-нибудь звать по имени.

8.XII. Письмо Лотте. Пишу, что здесь тихо, много снега и хорошо кормят. Всё это правда.

9.XII. Кранц разрешил ёлку. Хартман уже присмотрел в лесу. Брандт обещает к Рождеству шнапс. Он уверен, что у покойного управляющего был погреб и что погреб — под псарнями: «Старики всегда держат шнапс поближе к собакам». Кранц запретил.

Скребутся.

10.XII. Брандт взломал замок западного флигеля. Искал шнапс. Кранц наложил взыскание.

Часть вторая. Звери

Глава четвёртая. Наверху

23 января 1945 года

Рука ныла.

Левая, под ватником, от локтя до запястья, по старому шву. Так она ныла каждый раз, когда мороз брал своё, — тупо и ровно, как зубная боль. Козырев знал, что это ничего. Вера в сорок четвёртом, под Витебском, сказала: «Будет ныть на погоду, Гриша. Всю жизнь. Радуйся, что есть чему ныть». Он радовался. Сжал пальцы в кулак, разжал, ещё раз. Работают.

В правом кармане лежала втулка. Он катал её большим пальцем — по резьбе, по кромке, по резьбе. Хорошая резьба. Мелкая, чистая, без задира. Такую нарезали где-то в Германии на хорошем станке хорошие руки, а потом она попала в паровоз, паровоз попал под бомбу, а втулка — к нему в карман. Он подобрал её на путях под Оршей и с тех пор не выбрасывал. Ему нравилось, что в ней всё правильно.

В зале правильного не было ничего.

Очередь в западном крыле отгремела и стихла. Никто больше не стрелял, но тишина после неё была занятая — будто в соседней комнате кто-то стоит и не дышит. Козырев стоял у восточной двери, плечом к косяку, и смотрел в зал, и думал, что не понимает, по кому стреляли. Свои по своим? По ним-то не стреляли. По кому тогда?

Луна поднялась выше, и через высокие окна южной стены в зал теперь падали полосы — длинные, косые, белые, от окон к северной стене. Нижние лежали на полу, на шкурах, на ножках столов. Верхние, из окон второго света, ложились на северную галерею, на балясины, на стену с головами, и олени в этом свете стояли как живые, белые, с чёрными провалами вместо глаз. Светло было, хоть газету читай. И это было хуже темноты. Глаз привыкал к свету, и всё, что оставалось между полосами, делалось чернее чёрного. Человек мог стоять в двух шагах от света, и Козырев бы его не увидел.

Он посмотрел вверх.

Над залом, на уровне галереи, шли балки. Пять штук, вдоль зала, от западной галереи к восточной, толстые, тёмные, а на них — стропила, косые, уходящие в темноту под крышей. Козырев смотрел на них так, как смотрел когда-то на мостовой кран в цеху: что держит, что держится, где нагрузка. Балки держали стропила, стропила — крышу. Хорошие, дубовые, в стену заведены глубоко, сверху тёсаные, плоские. По такой можно идти. Если не боишься.

Багров стоял у окна, сбоку, и смотрел на двор. Потом повернулся.

Сектора он им раздал ещё до сумерек — разбил зал, как задачу на доске, и пронумеровал: первый — западная галерея над дверью в дежурку; второй — вот эта восточная дверь, у которой стоял Козырев; третий — вестибюль; четвёртый — северная галерея и гонг. Козырев сначала хмыкнул про себя: школа. Потом подумал, что так, по номерам, и вправду быстрее, чем «вон там, наверху, левее рогатого». Багров любил, чтобы всё по номерам. Козырев любил, чтобы всё работало. Тут они сходились.

— Из зала уходим, — сказал Багров негромко. — Здесь три стены галереи и одна лестница. Восточная половина, комната у перевязочной — одна дверь, окно во двор. Там и сидеть. Идём под окнами, вдоль южной стены. Ткачук первый, Козырев, Руднева. Я замыкаю.

Козырев кивнул. Под окнами — правильно. Под самым подоконником свет не падает: луна светит в окно, а не в стену под ним. Там самая густая тень во всём зале.

Он оглянулся на восточную дверь, прежде чем отойти. Дверь он сам оставил приоткрытой — на ладонь, чтобы видеть, что за ней, и чтобы она не скрипнула, если придётся открывать быстро. На ладонь. Он это помнил, как помнят зазор, выставленный щупом.

Пошли.

* * *

Первый выстрел ударил, когда они прошли половину стены.

Звук в зале был такой, будто выстрелили внутри головы. Он ушёл вверх, к стропилам, вернулся оттуда, отскочил от стен, и Козырев не понял откуда — понял только, что сверху и сзади. Пуля вошла в пол перед Ткачуком, в шаге, и выбила из половицы щепу размером с ладонь. Щепа ударила Козыреву в колено.

Все легли. Без команды — сами.

Второй выстрел — через три секунды. В раму окна, над Вериной головой. Посыпалось стекло, мелкое, звонкое, ей на спину, на шапку, на пол. Вера не дёрнулась. Только пригнула голову ниже.

Третий — в пол позади Багрова. Опять в шаге. Опять щепа.

Козырев лежал на боку, лицом к залу, прижавшись спиной к стене под подоконником, и смотрел туда, где должна быть западная галерея, — в темноту над полосами света. Вспышек он не видел. Видел только, как сверху, с галереи, после каждого выстрела сыплется вниз пыль — в свет, серебряная, медленная.

И он понял, что делает этот наверху.

Он не попадал в них. Он и не пытался. Он клал пули перед ними и позади них, по одной, с расстановкой, — и после каждой им всем хотелось только одного: вперёд, вдоль стены, к восточной двери, туда, куда они и шли, только быстрее. Туда, где не стреляют.

В восемь лет Козырева брали на облаву. Волков гоняли под Унечей, за депо, зимой, — отец, мужики из мастерских, двое с ружьями. Мальчишек ставили в цепь, давали трещотки и велели кричать. Волков гнали криком и трещотками между флажками — по красным тряпкам на верёвке, через лес, туда, где тряпок не было. А там, где тряпок не было, стояли номера. Волк шёл туда сам. Ему казалось, что он уходит.

Их гнали на номер.

Ткачук впереди лежал, уткнувшись лицом в пол, и вдруг поднял голову к восточной двери. Смотрел на неё секунду. Две.

— Второй сектор, — сказал он.

Тихо, почти шёпотом. Но в паузе между выстрелами это прозвучало так, будто он крикнул.

Козырев посмотрел на дверь.

Она была приоткрыта. На два пальца.

Не на ладонь — на два пальца. Кто-то с той стороны прикрыл её, тихо, осторожно, — и держал. Чтобы видеть щель и чтобы щель не бросалась в глаза. Козырев смотрел на эту щель, и всё сходилось: ладонь, два пальца, выстрелы перед и позади, волк, который думает, что уходит.

— Стоять! — сказал Багров. Негромко, но так, что все стали. — Назад. Стол.

Стол стоял поперёк зала, торцом к южной стене, у соседнего окна, — длинный, охотничий, на толстых точёных ногах, человек на десять. Козырев дополз до него первым, встал на колено, упёрся плечом в край столешницы снизу, Ткачук — рядом, и они вдвоём рванули его вверх и опрокинули на бок — столешницей к западной галерее. Стол грохнул так, что по всему дому пошло эхо. Козырев успел подумать: дуб. В три пальца. Винтовочную не удержит — прошьёт. Но спрячет.

Багров лёг за торец стола, повернулся к восточной двери и дал по ней короткую — по щели, по доскам вокруг. Дверь дёрнулась, брызнула щепой, отскочила внутрь и повисла на одной петле.

За ней никто не закричал. Никто не упал. Чёрный проём.

— Был там, — сказал Ткачук. — Был.

— Знаю, — сказал Багров.

* * *

Дальше было долго.

Наверху стрелял один. Козырев понял это минут через пять, когда перестал вздрагивать от каждого выстрела и начал считать. Карабин — выстрел, затвор, пауза. Пять выстрелов — и пауза длиннее: обойма. Пуля в стол — дуб гудел, и у Козырева над плечом, с их стороны, выскочила светлая щепа: насквозь. Он пригнул голову ниже. Пауза. Пуля в стену над головой — штукатурка за шиворот. Пауза. Вспышки Козырев так и не увидел ни разу: этот наверху стрелял из темноты, отступив от балюстрады, так, чтобы огонь не выходил за перила.

И каждый раз — из нового места.

Козырев заметил это на четвёртом выстреле, когда пыль посыпалась не там, где после третьего, а левее, шагов на пять. Пятый — ещё левее. Шестой — правее, назад, почти над западной дверью. Человек стрелял и уходил. Стрелял и уходил. Ни разу дважды из одной точки. Ни разу не задержался после выстрела, чтобы посмотреть, куда попал.

— Старый солдат, — сказал Козырев, ни к кому не обращаясь.

— Что? — сказала Вера.

— Говорю — не мальчишка. Стреляет и уходит.

Вера лежала рядом, за серединой стола, и держала свой ППС стволом на галерею. Она выстрелила дважды — короткими, на звук, — и оба раза Козырев видел, как в темноте над перилами летит труха с балясин. Мимо. Но близко. Хорошо стреляет, подумал он, как думал уже не раз. Хорошо стреляет баба. И тут же поправился — про себя, потому что вслух он так не сказал бы никогда: не баба. Вера.

Багров лежал у торца и молчал. Иногда говорил: «Ткачук, второй». Ткачук смотрел в чёрный проём восточной двери, не отрываясь. Иногда: «Козырев, четвёртый». Козырев переводил ствол на северную галерею — там, в лунном свету, белели балясины и висел гонг, тёмный, с бликом посередине, как огромный глаз, — и там никого не было.

Он ждал. Ждать он умел. Это было, пожалуй, главное, что он умел на этой войне: лежать и ждать, пока тот, другой, не устанет ждать первым.

Тот, другой, не уставал.

В паузе между выстрелами Козырев подвинулся к Ткачуку — на локтях, вдоль стола, — и лёг с ним плечом к плечу.

— Паш. Дверь — это ты хорошо.

Ткачук не повернул головы.

— Я её не видел, — сказал он. — Я слышал.

— Чего слышал? Она ж не скрипела.

— Скрипела, — сказал Ткачук. — Тихо. Когда мы шли. Тянет из-под неё, сквозняк, она и ходит — туда-сюда, на волос. И скрипит. Я ещё днём слышал, когда мы в зал вошли. — Он помолчал. — А потом перестала.

Козырев подумал. Дверь, которая ходит на сквозняке, скрипит. Дверь, которую держат рукой, — нет. Перестала скрипеть — значит, держат.

Он бы до этого не додумался. Он бы и скрипа не услышал. Он слышал выстрелы, шаги, лязг затвора, мотор за километр — то, что слышит солдат. Ткачук слышал, как перестаёт скрипеть дверь.

— Цейсовский, — сказал Козырев. — Ладно. Беру назад.

Ткачук хмыкнул в рукав. Первый раз за вечер.

* * *

Козырев увидел его на балке.

Не сразу — сначала он увидел, что тёмная полоса средней балки, той, что шла через весь зал от западной галереи к восточной, в одном месте стала толще. Потом толщина сдвинулась. Потом вошла в свет.

Человек шёл по балке.

Шёл — не полз, не лез, не перебирался на руках. Шёл ногами, во весь рост, как идут по тротуару. Балка была шириной в две ладони. Не больше. Под ней было метров шесть пустоты — и пол, и опрокинутые стулья, и шкуры. Он не держался ни за что. Карабин держал поперёк груди, обеими руками, как держат шест. Он не расставлял руки для равновесия. Не смотрел вниз. Он смотрел вперёд, на восточную галерею, туда, куда шёл, и шёл туда ровно, шаг за шагом, — и Козырев видел, что он делает: идёт туда, откуда стол им не поможет. С восточной галереи они за столом как на ладони.

Луна высветила его целиком — на две секунды, пока он пересекал полосу. Немецкая шинель, распахнутая, ремень, подсумки. Пилотка. Лицо — обычное, небритое, худое, немолодое, лицо солдата, каких Козырев видел сотни: в окопах напротив, в колоннах пленных, мёртвыми у дорог. Ничего в нём не было особенного. Только то, что он шёл по балке над залом так, будто внизу был пол.

Козырев повёл стволом. Не торопясь. Взял чуть вперёд, на полшага, — как берут на ходу. Выдохнул.

Короткая.

Он видел, как попал. Видел ясно, в свете, — так ясно, как видел за войну, может, раза три: шинель на правом боку дёрнулась, будто её снизу ударили палкой, и что-то тёмное плеснуло из-под неё в свет и полетело вниз, рассыпаясь каплями. Две пули. Одна — точно. В корпус, под рёбра.

Человек на балке не упал.

Он не покачнулся. Не схватился за бок. Не присел, не замер, не повернул головы. Он сделал шаг — тот, который уже начал, когда в него попали, — и поставил ногу на балку точно, на середину, носком вперёд. Потом следующий. Потом ещё один. Он дошёл до восточной галереи тем же шагом, каким шёл до попадания, перенёс ногу через перила, перенёс другую — и опустился за балюстраду, вниз, в темноту. Всё.

Не быстро. Козырев потом много раз прокручивал это в голове — и каждый раз выходило одно и то же: не быстро. Тот не бежал, не прыгал. Если бы Козырев сам пошёл по такой балке — а он мог бы, если очень надо, медленно, растопырившись, — он прошёл бы её не намного медленнее.

Он не был быстрее меня, думал Козырев. Он просто не потерял ни одного движения.

Человек, в которого попали, теряет движение. Дёргается. Сбивается с шага. Полсекунды, четверть — но теряет: тело хочет схватиться за дырку, сжаться, упасть, и надо сначала задавить это, а уже потом идти дальше. Этот не потерял ничего. Ни четверти. Каждое его движение было ровно таким, каким должно было быть, и следующее начиналось там, где кончалось предыдущее, — без зазора. Как шатун на хорошем ходу: туда — обратно, туда — обратно, и ни одного лишнего миллиметра. Такое Козырев видел у машин. Ни разу — у людей.

И что было паршивее всего — ему это понравилось.

Не то, что в них стреляли. Не то, что тот ушёл. А само это. Как оно было сделано. Внутри, глубоко, под страхом и злостью, там, где жил слесарь из депо, который за двадцать лет не простил ни одного лишнего движения ни себе, ни подручному, — там что-то посмотрело на человека на балке и сказало: хорошо.

Козырев услышал это в себе и испугался больше, чем выстрелов.

* * *

Сверху капало.

С балки, с того места, где в него попали, падали капли — тёмные, тяжёлые, по одной, и каждая, пролетая через полосу лунного света, на миг вспыхивала чёрным. Внизу, на полу, на светлых досках между шкурами, уже набралось пятно. Оно дымилось. Тёплая кровь в холодном зале шла паром — тонким, едва заметным, и пар поднимался в лунном свету, как над прорубью.

Потом капать перестало. С балки — перестало. Но Козырев слышал, как наверху, на восточной галерее, капает по доскам. Часто. Много.

— Попал, — сказал он. — Двумя. Видел.

— Я тоже видел, — сказала Вера.

Голос у неё был странный. Козырев глянул — она смотрела на пятно на полу, на пар над ним, как смотрят на чужую рану, которую не дают перевязать.

Козырев встал на колено.

— Командир. Он раненый. Он там, на галерее. Пока тёпленький — я его возьму. Язык.

— Нет.

— Командир. Он кровью исходит, слышишь? Он далеко не уйдёт. Я по лестнице — минута. Ткачук прикроет…

— Нет.

Багров не повернул головы. Он смотрел на восточную галерею, туда, где исчез немец, и говорил, как диктовал:

— Лестница одна. Наверху темно. Он один — это мы так думаем. Во второй двери кто-то был. Наверху могут быть двое. Ты поднимешься — тебя снимут на последней ступеньке. Нет.

Козырев стоял на колене и смотрел на лестницу. Широкая, каменная внизу, деревянная выше, она уходила вверх, в темноту, к галерее. Минута. Он знал, что за минуту успеет. Знал телом: ноги уже прикинули ступени, плечо — поворот на площадке. Тело было уже наверху. А Багров сказал «нет».

Багров говорил «нет», как задвигают засов. Такое «нет» не обойдёшь и не продавишь. Можно только встать перед ним и стоять.

Козырев постоял. Потом сел обратно за стол, спиной к дубу, и почувствовал, как злость поднимается в нём горячо, от живота к горлу. На Багрова. На то, что Багров прав. Он всегда был прав, сволочь, вот в чём беда. Прав, когда говорил «нет», и прав, когда говорил «оставить», — и от того, что он прав, становилось только хуже: злиться было не на что, а злость оставалась.

Он вытащил втулку и стал катать её в пальцах. Резьба. Кромка. Резьба.

* * *

Стук он услышал через несколько минут, когда в зале стало совсем тихо.

Сначала решил — показалось. Потом прислушался. Слабо, на самом краю слуха, откуда-то из-за западной двери, из глубины дома, — сухое, частое, неровное постукивание. Короткий, короткий. Длинный. Короткий. Длинный, длинный. Пауза. Опять.

Он узнал это раньше, чем понял. Так стучало в дежурке на станции в Унече, когда он, мальчишкой, носил отцу обед и сидел на лавке, ожидая, пока отец доест. Телеграфист за перегородкой стучал ключом, и звук был такой же — костяной, мелкий, как будто кто-то быстро-быстро щёлкает ногтем по столу.

— Ключ, — сказал Козырев. — Командир. Слышишь? Морзянка.

Багров поднял голову. Слушал. Потом посмотрел на часы, и Козырев увидел, как у него едва заметно переменилось лицо. Будто узнал что-то, чего давно ждал и не хотел дождаться.

— Шесть, — сказал Багров.

— Чего?

Багров не ответил. Стук шёл ещё с минуту — ровно, деловито, без спешки. Будто там, за стенами, в кабинете у северной стены, сидел человек, для которого не было ни получаса стрельбы, ни раненого на галерее, — сидел и делал свою работу, потому что пришло время её делать. Потом стук прекратился.

— Без особых происшествий, — сказал Багров тихо. Сам себе.

Козырев не понял. Переспрашивать не стал.

Вера проползла вдоль стола, от одного к другому, ощупывая каждого быстрыми руками — плечи, бока, ноги — и ни о чём не спрашивая. Козырев дал себя ощупать. Её рука прошла по его левому предплечью, по старому шву, и задержалась там на секунду — то ли случайно, то ли нет. Цел. Все целы. Щепа в колено не в счёт.

Ткачук всё так же лежал у торца стола и смотрел в чёрный проём восточной двери, висевшей на одной петле. Он не повернулся, когда Вера его ощупывала. Не повернулся, когда смолк ключ. Он смотрел в темноту так, как смотрят в неё собаки, — не глазами, а всем лицом.

— Был ещё один, — сказал он.

— Где? — сказал Багров.

Ткачук помолчал.

— Не знаю.

Глава пятая. Шов

23 января 1945 года

Кровь читалась легче, чем журнал.

Багров выждал час. Час — это было его правило для раненого противника: за час раненый либо умирает, либо его забирают свои, либо он устраивается так, что лезть к нему — самоубийство. Через час всё это становится известно. Час они пролежали за опрокинутым столом, слушая дом, и дом молчал. Ключ за стеной больше не стучал. На восточной галерее больше не капало. В семь Багров встал и сказал: «По крови».

Козырев пошёл первым. Багров дал ему пойти первым — это было меньшее, что он мог сделать после «нет».

На восточной галерее, за балюстрадой, там, где немец опустился в темноту, была лужа — широкая, тёмная, уже схватившаяся по краям ледяной коркой, а в середине ещё жидкая. Вера присела над ней с фонариком, прикрывая стекло пальцами, и Багров видел, что она меряет лужу на глаз, как меряют бензин, вытекший из бака: сколько было, сколько осталось.

— Лежал здесь, — сказала она. — Минут пять. Может, десять.

— Много?

— Много. — Она помолчала. — Литр. Может, больше.

— Живут с этим?

— Если лечь и не вставать — живут. Если встать — нет.

Багров выпрямился. От лужи вдоль галереи шли капли — круглые, с зубчатыми краями, как монеты, на равном расстоянии друг от друга. Багров смотрел на это расстояние. Шаг. Человек, потерявший литр крови, шёл по галерее ровным шагом, капая на каждом шаге одинаково, будто кто-то отмерял. Ни одного мазка на перилах. Ни одного отпечатка ладони на стене. Он не держался. Он не шатался. Он шёл.

Капли спустились по боковой лестнице — узкой, винтовой, в углу галереи — и ушли в коридор восточной половины первого этажа.

Лестница. Вторая. Багров остановился над ней на секунду. Он сегодня трижды сказал, что лестница одна, и каждый раз был уверен. Лестница была не одна. Он отметил это, как отмечают ошибку в условии, найденную на середине решения: всё, что решено до неё, придётся проверить заново. Там, у поворота, следов стало вдвое. На полу в крови отпечатался второй след — сапог, другой, побольше, с косо стоптанным каблуком. Оба следа шли бок о бок, и дальше — к двустворчатой двери в конце коридора, за которой начинался крытый переход в восточное крыло.

Его встретили, подумал Багров. И не несли. Шли рядом.

Так встречают того, кто дойдёт сам.

* * *

У самой двери перехода, справа, была ещё одна дверь — узкая, дощатая, приоткрытая. Из щели тянуло тёплым, кислым, тяжёлым запахом.

Багров знал этот запах по санбатам и госпиталям: пот, моча, мокрые от пота шерстяные одеяла, больное дыхание. Так пахнет человек, у которого третий день жар.

Козырев встал у косяка. Ткачук — у двери перехода, лицом к ней. Багров толкнул дверь стволом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.